

*Полина Иванушкина*

## Забывать-река

*Роман*

### *Глава 1. Рахитичка* Москва Октябрьская

— Имя я украла. И никакой Натальи Сергеевны Тутиной, не было бы, если бы в первое военное лето, в детском эшелоне, шедшем на восток, не умерла Тата.

Пол покачивается, пружинит так, что мышцы сразу вступают в знакомый такт и до краев полнятся усталостью безнадежной ходьбы, и только рукам не хватает привычной тяжести драгоценного груза, который, как гимнасту на проволоке, нужно держать, держать, когда хочется только бросить и остановиться. За окном все мелькает, оставляет долгий растекшийся хвост слившихся красок. Никаких подробностей, широкий мазок. А иногда — наоборот, одни только подробности, глаз выхватывает их из влажной, текучей и перемешанной палитры, пытающейся нагнать поезд. Рыжий кружок в руках станционной женщины. Ресничная линия деревьев по краю слияния с небом. Скелеты башен сотовой связи. Отражение в окне, залитом с той стороны острыми и тягучими, распушенными к хвосту каплями дождя.

Отражение в стекле возвращает Тате высокую старуху, прижавшуюся лбом к темнеющему окну — может быть, станционная женщина даже успела разглядеть эту движущуюся картинку в раме. Старуха шепчет. Имена. Подробности. Время. Тишина. И стук, стук. Кач, кач.

Вагоны проскальзывают дальше, в следующий кадр, рвут пленку.

«Серёжа, родной!

Безумно, бессмысленно, но я тебя все время жду, мне кажется, что ты не сегодня-завтра приедешь. Уже три недели тебя нет. И ни строчки. Схожу с ума.

Эту записку пишу на случай, если ты приедешь, без меня, а я уехала копать окопы.

Сходи в школу на Зеленцовой улице, 16, там есть тройка по эвакуации детей, узнай, куда перевели тубсанаторий, если перевели. Езжай туда и забери Тату и возвращайся обратно, потом вместе придумаем, что делать дальше. Забери ее скорей, им там очень плохо.

---

*Иванушкина Полина Сергеевна* — журналист. Окончила журфак МГУ. Работает в еженедельнике «Аргументы и факты». Автор-составитель «Детской книги войны» (М., 2015). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 10.

Если же я не возвращусь, а это вполне возможно, потому что фронт подступает, то Таточка останется только на твоём попечении, люби её, как я любила тебя и её, вас вместе.

Писать некогда, все. Целую»

Имя же, которое дали ей люди, было — Святая.

Так же стрекотали под дощатым и где-то дырявым полом колеса, прогибались по тяжести столыпинских вагонов рельсы, гудели металлическим вольчьим воем — такой же стоял и внутри — тогда-то и было впервые названо её новое имя. Святая.

И оно шло ей даже больше, чем Тата.

Горский тубсанаторий эвакуировали спешно — стремительный, разрастающийся наплыв отметок на картах, будто луковые стрелки жидкой рассады все вдруг пробились в одном направлении, накренились на восток. Похватали детей, гипсовые «кроватьки» — прообразы космических ложементов, картотеку — больные все были безнадежны, стрептомицин еще не изобрели — и паек на первые дни пути. С запада на восток, простаивая на запасных и успокаивая чахоточных с градусниками под мышками, запеленутых, будто личинки, в свои твердые коконы. Тогда еще было неясно, что вылупятся из коконов не все. Вот эта девочка, держащая в кулачке записку от мамы, «Серёжа, родной!», все, что от мамы осталось, она — нет. А та, что, полуприкрыв жиденькие ресницы, день за днем слушает, как соседка читает наизусть от частого повторения теряющие смысл строки, она — спасется.

Эшелон прибудет в Темниковку в конце лета.

Но это не тот эшелон, что уходил от надвигающейся тьмы.

Вернее, это вообще уже не эшелон. Его больше нет. К месту назначения прибудет единственная оставшаяся от него пассажирка, которую в последних числах августа передали под роспись — человек с портфелем поднял за собой, трогаясь обратно в город, завесу подорожной пыли — из горотдела в Темниковский детский дом для туберкулезных сирот.

Девочка сжимала в пальцах записку. И сказала, что её зовут Тата.

И все ей поверили.

«Рахитичка!»

Все, что могло что-то значить — метрика, санаторная карта, расписки родных (или чужих) «прибыл-убыл» — всего этого не было. Распылилось по полю вместе с врачами, нянечками, девочкой, день и ночь державшей у груди листок с точным, собранным почерком, как будто ему подвластны были и окопы, и тройки по эвакуации, и даже недалекий фронт и широкий шаг, которым шел муж Серёжа все дальше, дальше от нее... Мамин почерк. У этой девочки была мама. А у меня? Кто был у меня? Кто у меня есть? Кто, кроме сизого туберкулезного ангела с одним крылом на горбу, который так радостно обзывается и брызгает слюной?

«Рахитичка!»

Его зовут Соловов.

А я буду Тата.

Это теперь мое имя.

Осколок, засевший за мягкостью уха, будет тревожить её всегда и, может, однажды убьет, но не это причина беспамьятства. И не умысел. Но, может быть, провидение. Слишком много для восьми лет. Слишком. Забыть все. Не оставлять слабых мест. И все, что было до эшелона, она и правда забыла. Подвернулся удобный случай.

Когда вокруг загудело, запузырилась крыша, почернел горизонт в окне, исполосованный виноградинами шрапнели, девочка с жиденькими ресницами видела, хотя от паровоза её отделяли четыре вагона, как машинист — его молодое тело найдут

наутро, и голова будет опущена старческим инеем — медленно тянет рычаг на себя, как харкает черный истопник и как поезд, начиненный детьми, трясется всем нутром и начинает замедленно течь назад. Поезд сдает, небеса отверзаются, и сквозь оглушающую тишину девочка, которую мы, может, никогда и не узнаем как зовут на самом деле, видит руку, не связанную с телом, пухлую той пухлостью, которая вскоре повсеместно будет лишь симптомом голодной водянки, руку ребенка, выпирающую сквозь остовы железа.

Стирать можно было только целиком.

И выжившая пассажирка, сирота из разбомбленного эшелона, забыла всё.

Но пухлая рука все еще держит записку.

Живая вынимает листок из еще теплых пальцев — и забирает себе это имя.

Тата.

Кем-то же ей надо быть.

И с этого места она помнит все.

Вон уже с края поля бегут.

Больше эта Тата ничего о себе не знает. Только «Безумно, бессмысленно...

Целую».

«И "люблю". Она забыла написать в конце "люблю"», — шепчет высокая старуха, качаясь в просвете проносающегося мимо подмосковной станции вагонного окна, и как будто лишь в нем одном есть свет, и на нем одном только фокус.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Маму, которую не помнила (была ли она вообще?), я ждала всегда, иступленно, с каждым вдохом — вдох ведь не может уменьшиться, а боль стать небывшей. Но так ее ждал каждый, я думаю даже, это вполне могла быть одна мама на всех, собирательный образ, мама-которую-ждут. Совсем редко, но они действительно приходили, опомнившиеся, разыскавшие, вернувшиеся, вымоленные, придуманные; мы видели их поднимающимися к нам, на Детскую гору, эти силуэты, они шли снизу, из деревни. Нам все было видно с веранды, на которой мы грелись под солнцем, с марта по октябрь, в наших «кроватках», и разница между поднимающимися к нам женщинами была только в том, как они были одеты — в обносках, деревенские бабы, или это был полинявший за военные годы городской шик: уставшие, недавно причалившие на станции, пешком шедшие до нас, издалека.

Все равно это была мама.

Нужно было только чуть приподнять затылок, чтобы увидеть тяжело шагающую в гору женщину.

Всегда чья-то, никогда не моя.

Я думаю, даже Соловов, в котором, казалось, не оставалось ничего человеческого, ее ждал.

*А вдруг она вернулась с рытья тех окопов, — думала я про свою, из записки. А вдруг Серёжу — пусть он будет моим отцом — не убили на фронте... Вдруг. Вдруг.*

«Рахитичка!» — отлетает от кладки стен, эхом бьется в полукружьях окон, едва не сбивает Тату с ее пропитанного гипсом марлевого и твердого ложа. Рахитичка. И ни неточность диагноза, ни абсурдность его — в любом обличье — упоминания в Темниковке, доме для туберкулезных сирот, где каждый, кто внутри, если поскрести, нездоров, Тату не останавливают. Она ищет источник крика, смотрит из гипсового панциря, пытаясь зацепиться за привычное, понятное рядом: зимний свет бьет в широкие арки высоких, едва не до потолка, окон, девочки (девочки ли это?) лежат в «кроватках» ногами друг к другу, пахнет грязно и тоскливо — но у нее ничего не выходит, смысл не рождается, и единственное, ради чего остается держать веки поднятыми, усилием, слабым, — вот эти торчащие лопатки на вздыбленной, словно

капошон готовящейся ужалить змеи, худющей спине в проеме двери, когда он оборачивается, чтобы крикнуть в закрывающуюся щель: «Рахитичка!»

Туберкулум — бугорок, вспыхивающий на кости, ее разьедающий, когда начинается валькириева пляска микобактерий, передающихся с чиханием, с разговором. Украла имя, говорите? Кто? Неужели? Убили? Нет уже три недели? Как тебя зовут? Тата. Да что ты! Апчхи.

Заразили, может быть, разговором.

Может, выдохнули споры в макушку, стоя за девочкой в очереди в молочный. Может, сказалась ослабленность после простуды. Ветер смел их с мамой с угла площади некоего города, возвращались с утренника в детском саду, простыла. Или папа не закрыл окно в детской на ночь, промерзла. Промокли валенки. Инцифирована была соседка с третьего этажа — столкнулись на лестничной клетке. Или испугалась темноты — стресс запустил механизм размножения спор. Зимой мало витаминов. Проклятая нехватка белка. Иммуитет. Воздушно-капельный путь. Бугорки. Да что угодно.

Что-то, что-то случилось. Сад ветвящихся тропок, опрокинутый своими корнями назад. Заразилась, наверное, за пару лет до, в 39-м. Но большего никто никогда не узнает. Она все надежно забыла.

Я помню себя очень хорошо: я появилась на свет в чистом поле, когда чья-то рука протянула мне записку с моим именем. До этого — не было ничего. Но если что-то и было — то я точно не была домашним ребенком...

Помилуйте, но как теперь быть! У нее же нет ничего, кроме этой записки! — Листка с заломанными, как у сунувшейся в стекло бабочки, обтрепанными ежедневным употреблением краями. «Как я любила тебя и ее, вас вместе».

Одна только записка.

И та — чужая.

«Рахитичка!»

Жить нужно и можно в гипсовых «кроватьках». Лежать, есть, пить, пИсать в аккуратно чернильным карандашом размеченный и прорезанный лаз, смотреть в окно тоже — из этой колыбели, как будто ты и не вырос с младенчества, как будто в ней можно укрыться, как укрывалась в потном, створоженном запахе маминой груди, как будто все это было.

Если приделать колесики, то жить можно даже на ходу. Движение — жизнь. Все лучшее — детям. Хлеб — народное богатство, береги его.

Как же ему нравится толкать мою кровать, мою кровать с гипсовой «кроватькой», пристегнутой «лифчиком», на колесиках, он рад, этот уродец, мальчишка, тиран, единственный, кому до меня по-настоящему есть дело, так рад... «Рахитичка!» — отлетает от кладки стен, скорость все выше, они уже в конце выложенного когда-то благородным, предназначенная для бархатных домашних туфель немногочисленных владельцев, а теперь истершемся от сотен грубых подошв бывших беспризорников, сирот, вскормленных разбавленным государственным молоком паркетом коридора, и Тата больше не пытается зацепиться за ошметки памяти, убитой контузией: она **теперь** вся здесь, перетекла, как будто раскуклилась, ей даже немножко страшно от скорости. Рахитичка. Тата Тутина. Это я.

И он гонит ее вперед, вперед, пусть на малом ходу.

— Соловову — я не помню его имени, не намеренно не помню, просто в детском доме мы почти не звали друг друга по именам, а местные, темниковские сироты всегда были на кулаках с нами, привозными, еще недавно домашними большей частью детьми — Соловову я надоела быстро, как надоедает игрушка, которая не хочет играть, как заводной

*солдатик, в котором сломан завод. Он был ходячий, а я еще долго лежала в «кроватке». Старше меня года на два. Очень скоро он оказался в лагере тех, кто на наш первый в Темниковке новый год, устроенный свежей партией эвакуированных взрослых, воспитателей и врачей, видел наряженную — бедно, дико, смешно наряженную — елку первый раз в жизни, всего года два как их разрешили снова наряжать. Оказался в лагере тех, кто не знал любви, но умел ненавидеть. В лагере тех, кто потом станет безотказным, послушным, исправным солдатом режима, жалким железным винтом. Октябренком. Пионером. И самоубийцей.*

Хотя сейчас я и не уверена, что водораздел тогда шел именно по этому признаку: «привозной» ты больной или местный детдомовец... Битва за хлеб равняла нас всех. Лежачих, ходячих, когда-то домашних, казенных, маленьких, больших, мальчиков и девочек.

Из детского дома я больше всего помню вот это: битвы за серый мякиш.

И Софью Павловну, конечно. Ночную няню.

Ноги высокой старухи гудят в такт поездной дрожи. Прижавшаяся лбом к холодному стеклу, сквозь которое глазеет на нее проскальзывающий назад вечер, бесцветный и сразу чей-то и как будто ничей, она продолжает шептать. Сама себе. Или, может, какому-то невидимому нам адресату.

Я никогда не стыдилась того, что украла имя, вместе с той запиской. И никогда не жалела об этом. Я стыдилась другого и мучилась другим. Что не могла ничем той Тате, девочке из эшелона, помочь. Что она умерла в одиночестве, сжимая дорогой клоч бумаги. Что мы с ней почти не говорили и я теперь ничего о ней не могу рассказать — что за толк ребенку было разговаривать с полунемой, какой я всегда была...

В окно бьется ночь, но старуха не замолкает, рассказывает, это видно по тому, как движутся ее губы, хотя что можно разглядеть в ночи? В спину толкают командированные в трениках, отползающие от биотуалета, проводницы с брелками в форме трехвагонных составов громыхают подносами. За Татиным плечом неясно, почти неразличимо, так, что кажется, будто там никого и нет, стоит чья-то тень. Но на той скорости, на какой ездят нынешние поезда, она неуловима, и вопрос так и останется открытым до конца. Это поезд дальнего следования Москва—Мурманск. Тата сойдет раньше.

— И сейчас мне кажется, что все, что происходило потом, происходило так из-за нее, из-за той Таты. Из-за того, что я ничем ей не помогла, не была с нею в ее конце, и она так и ушла... не воспринятой.

Хотя мне сложно об этом говорить. О том, что происходило потом.

Об этом должны рассказывать те, к кому я приходила.

Но они ничего не расскажут.

Дар прикосновения, вот что было у Таты.

Хотя руки ее всегда только тихо лежали на чужих одеялах.

Сейчас они касались стекла, покрытого изнутри точечной взвесью влаги, в уходящем в ночь поезде, как будто темнота дышала с той стороны — в эту. Лоб упирался во влажное, в испарине, окно, так что оно продавливало розовую младенческую вмятинку на старческой коже.

Снаружи растекалась вода.

Святая спешила.

Костоеда хорошо лечится настойкой восковой моли на белом вине, а также полынной.

## Глава 2. Голодранки

### Березайка

К концу самому служение Татино очистилось до такой прозрачной ноты, что в нем ничего телесного и не осталось, и было оно — свечение. Свет возникал самовозгораясь, — как в первобытном трении, нисходящем от луча огне — между ней и тем, к кому она приходила. Возраст ее, хотя еще не библейский, высокий рост, даже возрастом не скраденный, измятые туфли, длинный подол, о черт, святая.

Имя это, первый раз выдохнутое много лет назад под громыхание колес бессонного столыпинского вагона, под блаженную тишину унятого крика, шло ей, шло больше, чем Наталья Сергеевна, Тутина.

«Тут и там» — слышалось в ее фамилии, и она правда так и пребывала — тут и там. Шла погранично. Переводила через холодную реку. Кому-то казалось, что она лишь правит лодкой, но про себя она знала, что сама по грудь в этой реке.

Впрочем, знание это ее ждущим — и ожидающимся — было лишним, это был лишь ее вечный груз: остров посреди воды, мыски мужской обуви с чужой ноги выглядывают из-под нависшей робы, и куда-то надо деть эту жизнь. «Смерть, смерть», — в ушах Таты.

«Смех, смех, смех один, — хрипит голос с белой и худой койки у стены, заканчивая несмешной рассказ. — Тянет от окна, прикройте, зябну, — начинает голос о другом, и Тата делает шаг к окну, в котором высокое небо над этим последним приютом оплаывает жарой градусник. Тата знает этот сквозняк... Мальчику на койке пожалуй что двадцать, и прежде чем снова приблизиться, Тата привычно уступает место ставшей родной мысли: девочка ее как бы выглядела в этом возрасте? Мысль послушна и приручена, не мешает, и у них с тем, к кому она пришла, еще много времени. Мысль же мальчика переживет.

Тата почти никогда не говорила, просто — была. И в нее перетекал уходящий свет — даже если он был крошечной тьмою.

Так было к самому концу.

В начале света не было.

Святая родилась из тьмы, носившейся над крышами стремящихся во ад вагонов для скота.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— *Себя и случившееся со мною, вернее, то, что я допустила случиться, я осознала поздней осенью, нашей первой осенью в Темниковке, когда Соловов уже охладил ко мне до ненависти, с какой рвут старым игрушкам конечности, а мне разрешили вставать. Хотя, конечно, это было против всяческой логики: питание было скудным даже и для неослабленных детей, что говорить про нас, «рахитичек»... Но даже когда я встала — несмотря на худобу и слабость — и пошла с девочками (а это все-таки были девочки) вниз, в деревню, и дальше, на станцию, побираться, меняться, и пуговичка папина была со мной — а я уверила себя, что она папина, в п р а в д у п а п и н а, и это была единственная правда, доступная мне — я ее не сменяла, хотя и предлагали сладкую морковь.*

Медная с бельмами, вспененная по краям, с утопленной вглубь сердцевинной. Истертое ушко для того, чтобы схватить ниткой. Как будто рукотворная... На аверсе — маяк, и литера «Т» — на исподе. Никаких душных вензелей, растительных орнаментов. Строгая пуговица. Может, и человек был строгий.

Я решила, что Т — это фамилия. Тутина. Хорошая фамилия. Почему нет? Тут. И там.

*А про маяк — он был странный — я ничего тогда не решила, не успела решить, просто*

*берегла пуговицу как самое дорогое, подлинное и неотменимое. Я точно помнила — если это слово уместно в применении ко мне — что пуговица была со мной еще до записки.*

Морковь нам дали все равно.

Просто догнали и дали. Махнули рукой. Ешьте, голодранки. Бог с вами. С вами Бог.

Некому больше.

Высокая старуха, незаметно качаясь в такт стремлению экспресса, все говорит, счет времени будто потерян. Она видит в тугом и литом, будто поджавшая лапы гончая в прыжке, поезде, идущем без компаса, все те бесчисленные поезда, в размазанных картинах за окнами которых растворились ее дни. Связывает воедино их куски и видит наконец целое. И ей впервые хочется говорить. Рассказывать. Самой.

Татина жизнь оказалась похожа на длинный, длинный состав, грохочущий перед тем как скрыться в тоннеле, на цепочку из одиноких вагонов — и она сама не ехала ни в одном из них.

Где-то низко сигналили. Ждали.

Скоро тоннель.

Ладони от холода чесались.

Генеральская усадьба, отданная сначала под дом для больных сирот, а потом принявшая эвакуированных с туберкулезом кости, владела сокровищем — помимо иных сокровищ: рекой и берегом этой реки. Трусы на Тате такие же синие, как губы, коленки снова сгибаются, река затекает в пупок, под воду уходят плечики, нос, веки... Река сомкнулась. Раз. Глаза можно открыть: волосы-водоросли, а над головой на мелких волнах плывет колыбель... День из провидческих, тех, в которых заложена улитная спираль будущих событий. Два. В ушах становится густо и громко, река бьет Тату в грудь. Три. Вдруг думается, что если все закончится сейчас, то последним воспоминанием будет вот это, то же, что и вчера: как сидит на корточках в реке и опускается с макушкой, как на берегу лупит ее мокрой березовой веткой по лодыжкам Соловов (трусы на нем такие же, как на Тате, синие и со штампиком), но главное, что точно останется навсегда: как вязко сквозит вода через пальцы, липнет и обволакивает, сжимает мысли, это морок какой-то, наваждение, и избавиться можно только — рванув, но на это нет сил, и нечем дышать, и все останавливается, останавливается, чтобы прорваться где-то в артерии, и снова идет по кругу, как начинается с начала счет. Раз. Мамочка, я больше не могу. Два. Солнце сквозь воду больше не светит. Три. Пятки сами отталкиваются от песка.

Река опадает с Таты, как прорванная целлофановая пленка.

День брызжет в глаза.

До отбоя — вечность.

Над водой стоит густой комариный зуд, весомый, как колокольный звон, и ей кажется, что она уже все про себя знает.

Через десять лет, в женском отряде, Тату Тутину не тронут пальцем. Заколдованная. До отбоя — успеть вздохнуть, закрыть веками день, упасть головой на руку... не заснуть. И только звон колокольный висит над островом такой же, неотменимый, и Тата снова считает: раз... Раз. Раз.

В углу барака, зловонном, всегда капает. Кап. Кап. Кап. И намокшая колыбель все время плывет по краю мыслимого мира. Сама. Сама. Сама.

Ванночка. Она утопила ее в оцинкованной ванночке.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Когда я начала вставать, в коридор старалась не выходить. Там был Соловов. Простаивала до сумерек, оперевшись на подоконник, выглядывая женщин, идущих на Детскую гору, провожая облака, свободно идущие за дальний лес, и пока я была в

спальне одна, это было почти покоем. Но так было редко. Чаще за моей спиной кричали напряженно вольфрамовые нити верхнего света, гудели голодные девочки, хвастаясь урванными крохами хлеба, а в проеме погружающегося в сумерки окна текла справа налево серая цепочка теней на тоненьких ножках, в конических колпачках гномиков, сшитых из серых байковых одеял. Взявшись попарно за ручки, они, самые маленькие, стекали с Горы вниз, к людям, туда, где могли встретить ту самую маму-которую-все-ждут, но я никогда не замечала, чтобы они встретились, чтобы укоротился строй. Цепочка в серых колпачках всегда возвращалась неделимой. А может, их, маленьких, водили в ту сторону за подаванием, клянчить, а остальное я придумала... Знаю только, что с каждым годом в Темниковке я все дальше удалялась от трогательной нескладности этих маленьких тел и что шансов встретить Соловова, хищно притихшего за дверью в ожидании меня, было намного больше, чем дожидаться маму.

Над моим ожиданием он смеялся, растягивая в клетоте узкий рот.

Из тех, кто прибыл одним транспортом с Софьей Павловной (распределяли без разбору, здоровых среди сирот не оставалось, а в той партии, с севера — так только самые доходяги), с привязанными к запястьям бирками с именами, кто-то к марту лежал в дальнем углу генеральской усадьбы, где было устроено кладбище для детей с Горы; в том году к марту земля уже замерзала.

Чесотка, трахома, стригущий лишай, малокровие, желтуха, цинга, дистрофия.

Голод. Тушеная капуста и крупяные котлеты.

Суп, похлебку из муки или щи ели одной чайной ложкой, по очереди. Если не бывало и той единственной, то жижу сначала лакали, а потом пальцами вычерпывали гущу.

Спали по двое. В школу ходили посменно, по очереди носили разномастное тряпье. Мальчики надевали девичье и наоборот, голову повязывали наволочкой, полотенцем. Валенки — дефицит.

Пальто, брюкву, алюминиевую миску — все можно было выпросить только в деревне или на станции, куда ездили побираться на подводе, запряженной единственной детдомовской лошастью Пряхой. Кто-то жалел, кто-то гнал, кто-то бросал подачку сквозь зубы, кто-то плакал, провожал до калитки, поправлял сбившийся женский платок на уходящей мальчишичьей спине...

Чтобы не сдохнуть от голода, собирали в лесах вокруг Темниковки шиповник, крапиву, лебеду, подорожник. Жевали, сушили, заваривали.

*— От худобы я светилась. Косточку на бедре прикрывала только кожа, и резинка от трусов, не пущенных на общак, — стирала сама, под ледяным краном, сушила под подушкой — врезалась сильно, как будто я стремительно росла, а они становились малы, словно можно было вырасти на тех харчах. Жало, саднило, начало кровить. Я выжила, когда разбомбили наш эшелон. А какой-то врезавшейся в тощий мой бок резинки могла не пережить: инфекция, воспаление, dolor, calor, rubor... Но и это пережила.*

Поляки, евреи, финны, татары, поволжские немцы, белорусы, украинцы. Крепкий интернационал.

Перелицованное тряпье, скудность вещного мира. Бережливость, граничащая с помешательством.

За брань, табакокурение — лишение сладких блюд (живой морковки), выговор перед строем. За воровство, вредительство, убийства, изнасилования и побег — смертная казнь. Нет, конечно, нет...

Нищета такая, которую уже и не замечаешь, ибо нищ каждый брат. Писали между строк старых книг странно уцелевшей генеральской библиотеки, газет, привязывали



железные перышки нитками к карандашу, чернила делали из сажи. Учебники, если были, делили, сталкиваясь лбами над страницей.

— Но не это было страшно. А то, как хотелось всем выжить. И мы отмораживали пальцы на занятиях по химобороне, перечисляли заработанные какой-то самодеятельностью гроши на строительство танков, вступали в пионеры, изучали биографии вождей... Ненависть к врагу. Готовность к самопожертвованию. Дети, товарищ Сталин прислал вам благодарственную телеграмму. Москва, Кремль. Весь этот речитатив, заставлявший нас чувствовать, как мурашки бегут от лодыжек вверх, к плечам, прислоняться друг к другу в строю и брать самую верхнюю и жуткую ноту, меня он страшил. Но я стояла в этом строю. Стояла.

Место для тех, кто остается в Темниковке навсегда, в дальнем углу генеральского имения, было определено давно, сразу же, когда хозяина и хозяйку загнали в реку, а в их дом привезли несколько подвод с беспризорниками, уточнив впоследствии профиль заведения как туберкулезный. Враги народа постоянно менялись, и поэтому поток новоселов не иссякал. И их обратный отток, уже в окончательном направлении, тоже шел и шел, заканчиваясь тут. В бывшем генеральском яблоневом саду, который без верной, умной руки, что обрезала, подкармливала, красила, прививала, снимала со стремянки самые верхние, к небу подвешенные плоды, сметала в кучи сладкую, размятую в пюре падалицу, без нее сад одичал, зарос, ветви протянулись друг к другу и закруглили своды, корни вышли наружу, как выпирающие старческие фаланги, драгоценные золотые яблоки сшибали деревенские разбойники, уносили целыми подолами, но зато земля, земля, впитывающая в себя все, отдохнула и стала жирна и мягка, и в эту землю ложились дети с Горы.

Если случалось, под утро нянечки на старых тачках, помнивших еще те самые руки, которые терпеливо обтирали каждое яблочко и заворачивала его в тонкую восковую бумагу, пахнущую вечностью и покоем, под утро нянечки отвозили холодных детей в сад. Они его, кладбище, так и звали: Сад.

И никто этого слова не боялся, ибо порой эта доля казалась слаще.

Сад, словно безмерная паутина, подвешенная в воздухе, притягивал Тату своим светом, идущим то ли от некрупной, по меркам этого сорта, прохладно-желтой антоновки, лампадками мерцающей в голых ветвях, то ли от осеннего солнца, преданно стоявшего над деревьями, избегая заглядывать в другие уголки истерзанной усадьбы. Сад был виден из окна спальни, и когда Тату возвращали обратно, привозили в ее «кроватьку» с веранды, — «Процедуры окончены!» — она поворачивала голову в сторону высокого окна и слушала Сад, гудевший на ветру косогора.

Ей казалось, она слышит голоса.

Прислушивалась, различала знакомые лица, запоминала истории.

Утыканные плодами, как игольница булавками с мелкой и твердой головкой, яблони горели своими фонариками издалека, и Тате казалось, что эта песнь дерев прорастает в нее — и ее кости становятся тверже. И можно наконец встать и пойти.

От тоски по покойному помогает соблюдение обряда: взять яблоко, идти на перекрестную дорогу до восхода солнца. Взять с собой ржавый гвоздь и этим гвоздем сделать двенадцать дыр на перекрестке. Потом бросить все это — и не оглядываясь, рысью назад.

### Глава 3. Маскарон Вышний Волочёк

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— В дни, когда Соловов не истязал меня и не караулил, мысли мои занимала пуговица, литера «Т» и маяк. Жалкое мое имущество никого не интересовало само по себе, ценности в старой медяшке не было никакой, но, видя мою привязанность к этой памяти, видя это, так легко было уколоть, уничтожить, сломать — тому, кому бы этого захотелось... И я ее спрятала. В глубине Сада, там, куда, казалось, еще не скоро дойдут нянечки с тачками. Тогда мне казалось, что что-то поменяется и я успею пуговичку с маяком выкопать — прежде чем окажусь там сама. Я закопала пуговицу и вспоминать ее теперь могла только кончиками пальцев, когда-то по ночам гладившими чуть утопленный в глубь металла маяк на лицевой стороне и запомнившими весь рисунок, всю тяжесть, все сколы. Язык же помнил соленую прохладу. Я думала о том, что маяков там, откуда меня привезли, не могло быть, о том, что буква на изнанке могла значить все что угодно — и фамилию владельца, и название галантерейной фабрики, я думала обо всем этом, уходя мыслями по тропинке Сада к своей схронке, и мне было уже — возраст определили на глаз, но мне кажется безошибочно — 9 лет, и я ни с кем больше, после Софьи Павловны, не разговаривала.

Кроме Леты, конечно, кроме нее.

«Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно — рабочий дом...»

Тате казалось, что мамин голос если бы звучал, то звучал именно так. Как Софьи Палны. Лицо у Таты белесое — холодно, но в плоском и одновременно остром свете эта обесцвеченность не читается. Татины губы складываются вслед за этим голосом в колечки, растягиваются, живут, иногда забегают вперед: текст выучен ими обеими наизусть, на износ, на измор, издание товарищества «Народная польза»: мелкий бисер знаков, черно-белые, тонкой карандашной штриховкой рисунки, прозрачная бумага, захватанная десятками рук; где-то на просвет, возможно, жадный материнский глаз мог бы даже разглядеть тонкие древесные кольца отпечатков их пальцев... Тата знает, что их было двое.

Ночная нянечка появилась в Темниковке позже Таты, и никто про пришелицу, одну из тех, кого волнами прибывало под крышу генеральского дома, ничего не знал. Просто за Урал пришел очередной транспорт, очередной выкидыш войны, кашляя в ладони, притопал к воротам, кто-кто в теремочке живет, вам работники не нужны? Тата долго не могла понять, зачем Софья Павловна прибилась к ним, к детям... Сама же нянечка почти не разговаривала. Слова стояли поперек горла, страшно было рот раскрыть: вырвутся, затопят, убьют.

Но по ночам, по ночам она читала. Софья Павловна в шали с чужого плеча (приехала почти голой, с одной только книжкой) и гладкая, стриженная голова Таты — под ночным светом. Не попадая в такт мерцанию щипящих, меркнувших в длинном и высоком пролете коридора ламп, они наизусть бежали вниз по строчкам. Слова были как в молитве, затверженные и почти лишённые изначальной сути, но по пути тяжко обросшие памятью сопутствующих обстоятельств. Желтые, с изломами, легшими тонкой паутинной сетью, страницы. Желтый туман над Лондоном, желтые желваки Ловкого Плуто, желтые залатанные брючины Оливера... Да и сами они, обе, ночная няня и приبلудившаяся, приходящая к ее дежурному столу по ночам девочка, обе они как будто нарисованные или это все нелепый и жуткий коридорный негасимый свет...

Тата подтягивает колени ближе к животу, чуть отстраняется от ног Софьи Павловны, прикрытых длинной юбкой, чтобы притушить стыд голодного бульканья в животе. До завтрака еще долго.

— «Оливер громко кричал. Если бы мог он знать, что он сирота, оставленный на милосердное попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче...»

— А звали их как?

Голос наверху останавливается.

— Мальчика Дима, девочку Валя.

И больше ничего. Только Диккенс, вот этот, желтушный, которого дети любили так, что когда почти все книжки, журналы, макулатура и просто обрывки бумаг были пущены в дело, в печку, на растопку, на тепло, на пламя, яркое и мгновенное (ради которого и задумывались, творились — но вряд ли ожидали, что его, свет знаний, заменит буквальный огонь буржук и все исполнится именно так: в доме на Васильевском, в первую блокадную зиму), так вот «Оливера Твиста» они тогда сжечь не дали. И потом уже, по проламывающемуся льду, когда и тащить ничего полезного за собой не могли, то вот его потащили, и выбрались, и спаслись, и на станции Вологда остались навсегда, один за другим, с разницей в четыре часа.

Ночная няня прижимает перегнутого по клеенчатому хребту «Оливера» к узлом завязанной шали на груди и перебирается под стол. Лампы режут там не так сильно, и в тишине становятся слышны волны тревожного, голодного сна, текущие из выходящих в коридор приоткрытых дверей старого дома, который в ночи, под этим неестественным светом, глядит ободранной, злой приютской кошкой (но зимним утром, когда в прострел галереи бьет солнце от реки, он на несколько тактов вдруг вспыхивает и вспоминает себя... Темниковской усадьбе, стоящей мимо всех перекрестьев дорог, в глубине самой зимы, повезло так же, как и этим подкидышам, казенным выкормышам, одиноким шакалятам, потеряшкам войны... Повезло уцелеть. Но не более. Разбитые чашки, из которых никогда не смогут пить).

Тата начинала повторять абзацы первой главы, с нянечкиной интонацией, не пропуская ни слова, как будто держа на коленях книжку, там, у них, в подпольной тьме, и как будто умея читать. Так, как будто видела эту ночную улицу, — тем своим внутренним зрением, которое вскоре еще обострится — по которой Софья Павловна спешила домой из конторы, а на пятом, в узком, горячем окне уже был свет, и рыжий абажур освещал заодно и колодезный двор.

— Вы не виноваты. Софья Павловна.

Ночная няня как будто впервые увидела девочку. Тата была теплая, пропеченная изнутри, разморенная.

— Меня, наверное, Соловов опять бить будет.

— И ты не виновата, девочка.

— Сбежать хочу.

— Стой. Я тебе еще почитаю.

— Все равно некуда.

— Значит, и терять нечего, — голос чуть-чуть поднялся, как будто одолел верхний ярус. — Ты всегда таким мальчишкой была? — сухая ладонь на остром Татином загривке.

— Нет, дорогой завшивела, тут обрили. — Тата замирает и чуть втягивает голову в плечи. — Отросла уже. — Еле движет губами.

— Валя косу через плечо перекидывала, все мальчишки на нее смотрели. Вот такая толстая, в руку.

— А можно я вас потрогаю? — ломается голос.

Палец следит за кожистой дорожкой худенького пробора, очерчивает горестный лоб, рисует нос, ставит точку на подбородке.

— Иди, ложись, я с тобой посижу. Иди, — ночная няня подталкивает вмиг осоловевшую от не знакомого раньше покоя трущую глаза Тату в правое плечо, крестит сухой щепоткой, бегло и нешироко, даже не вспомнив, откуда в ней это движение руки. Мама, бабушка, наверное... Разве у нее была мама, бабушка, Валя, Дима, жилконтора с восьми до пяти?.. Может быть. Наверное. Но все, что есть у нее сейчас, в эту ночь, — это семь гудящих едких ламп и вот эта бритая девочка с книжкой под мышкой, которая не умеет читать, скрипнувшая дверью в конце коридора.

В Ленинграде они ели остатки прогоркшего масла, которым раньше смазывали петли. Дима и Валя говорили похоже на жеваного попугая.

Когда Софья Павловна накрывала сложившуюся, чтобы как будто и во сне занимать меньше места, девочку своей — чужой — шалью, Тата уже спала.

Соловов сорвался со своего наблюдательного пункта, юркнул в темноту мужской спальни, и паркетина под его босой пяткой по-чаячьи вскрикнула.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— И еще, еще я не могу простить себе его, Соловова. Его незамеченного чувства. Того, что оттолкнула его... Нет, того, что просто не пошла даже за ним, когда он так просил, когда так жался ко мне, ждал меня каждое утро и толкал на веранду «кроватьку», чтобы я могла дышать и принимать солнечные ванны, и был так предан мне. И потом так жесток. А я его не приняла. Я не хотела с ним играть. Я ни с кем не хотела. Я хотела не быть. И прошла мимо.

И потом мимо меня прошел он, Соловов. Толкнул плечом в сутолоке Киевского вокзала, прямо под часовой башней Арама.

Не могу.

Они прочитали первую главу семнадцать раз.

На восемнадцатом Софью Павловну забрал комиссованный по ранению муж. Они уходили из Темниковки, подпирая друг друга боками и минув арку с надвратной головой то ли горгоны, то ли львицы, то ли боттичеллиевской Венеры, запутанной в своих волосах: Тата безмолвным часовым провожала их со своего наблюдательного пункта у высокого окна. Муж грелся в ее — с чужого плеча — шали. Они никого не могли теперь согреть. Даже друг друга.

Но когда Тата будет запускать пальцы в пуховый подшерсток на Летиной новорожденной голове, ей будет казаться, что она ведет ладонью по мягкой глади нянечкиной шали и что этой книге не будет конца.

Лоб, солнечное сплетение, правое подключичье, левое. Теплый маленький лобик. И колыбельная — так, как умела: *«Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования...»*

Читать Тата научится уже на острове Ягнячем.

Мамой ей стал маскарон.

Усечением идеи. Огрызком слова. Мэм... Единственным доступным воплощением.

Под определенным углом голова над воротами парадного подъезда Темниковской усадьбы улыбалась. Многим обитателям Темниковки казалось, что улыбалась насмешливо. Тем, которые были позлее, казалось, что насмехалась голова над генералом с генеральшей, пущенным с косогора в реку. (Им помогли докатиться до неглубокой воды, а потом в этой воде задохнуться. Коса тонкой и беззлой хозяйки, одетой в одну ночную сорочку — просвечивали жидкие ребра, не тронутый родами живот — была намотана на рукав какого-то ухаля, который только и дивился что утопленница не брыкалась и не кричала, пока он ее топил). Другие думали, что голова

насмехается на ними самими, запертыми в старом доме, в таком глубоком тылу, что помощи ждать неоткуда, неоткуда совсем.

Тата же знала: голова не усмехается. Маскарон смеется.

Чисто так, беспримесно, не зная будущего — или это будущее обещаю. Голова глядела в сторону сквозной веранды, стоящей бочком, выходящей на светлую часть кручи так, что ослабленные дети могли лечиться солнцем несколько месяцев в году, а Тате — стоило приподняться на локтях из «кроватьки» — были видны и силуэты, поднимающиеся в Гору снизу, и маскарон над парадным подъездом. Голова в волнах развитых прядей, которые как будто колыхал ветер с реки, улыбалась ей своим гипсовым ртом, и Тата могла забыть о том, как больно щиплетя Соловов; о том, что происходит с хлебом (старший, взрослый, отсекает плоть и взвешивает на медных весах кусочек, иногда с довеском; горбушка достается тому, кто сидит во главе, и к следующему приему пищи недавний триумфатор пересаживается в конец стола; за этим строго следят самые жестокие мальчики, на время обеда становящиеся образцом дисциплинированности; а по дороге в кладовую они же налетают на старшего стаей воробьев и отбивают крохи, а самые наглые — утаскивают в глотках и куски); забыть о том, как в Сад одним зимним утром, так, что потом не пришлось долго искать следов — утоптанная в снегу тропинка привела на место — на тачке увезли Лету.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Лета умерла мгновенно и далеко от меня, и я всегда спрашиваю себя, если бы все случилось иначе, могла бы я тогда ей помочь, был бы ли смысл в моем присутствии? Мне кажется, нет — в том понимании, как это происходило потом, но конечно, если бы я просто держала за руку свою единственную в Темниковке подругу, ее бы это утешило. И меня. Но так не случилось.

Лету, сироту с младенчества, так же, как и я, не помнившую своих и проведенную в нашем детском доме, в котором смешались все национальности, заболевания и первопричины, все свои 12 лет, Лету, которая была самой здоровой, смелой и непокорной девочкой в Темниковке, Лету, которую любили мальчики, боготворили такие «рахитички», как я, и уважали взрослые, Лету, которая доверилась почему-то именно мне, безгласой молчунье, разговаривавшей в уме с пуговицами и записками, Лету затоптала лошадь, когда они поехали на телеге на станцию за партией прибывших из города одеял, и в неровном Пряхином ходу друг мой свалился ей под копыта.

Так нам сказали.

Упала с телеги под задние ноги, зашибло.

Как будто для того, чтобы уничтожить то сильное, буйное, чем была Лета Городецкая, понадобилась такая же необузданная сила, какая была в нашей Пряхе, которой мы носили свой последний хлеб.

Пейзаж услужливо подпихивает старухе у окна черные точки — пасущийся вдалеке табун, и эти точки даже можно успеть принять за лошадей, но Тате, все стоящей на своем посту в узком коридоре поезда, не нужны иллюстрации и подсказки. Она сама может воскресить — и Пряху, и Лету. И еще кое-кого, и еще.

Чтобы человек был с вами всегда рядом, пришивать пуговицы надо белыми нитками на восходе солнца, а во время работы все время повторять заговор: «Пришиваю, пришиваю, не скучаю, имярек от себя не отпускаю. Да и будет так».

Да и будет так.

## Глава 4. Пуговичка

### Окуловка

Маму, казалось, не ждала одна Лета Городецкая.

Светланой нарекали в доме малютки — сама избавила от последних слогов, первые переврав и зачем-то вычеркнув из себя свет, как будто это можно было сделать вот так, по желанию (или так же по желанию снова его зажечь где-то в солнечном сплетении и греться, и греть). Лета сама была светом, даже в своем обугленном имени. Рыжая, бледная, тощая, стремительная, злая на язык и добрая ко всей животи, которая была в Темниковке, то ли в подруги взявшая себе бессловесную новенькую, то ли — в подопечное стадо еще одной безгласой головой, которой требовался кров, прокорм, ласка — и ни за что, за просто так, от горячего сердца. Мама Лете, в сущности, была и ни к чему, она сама была всехней мамой: могла легонько отпихнуть потресканным мыском башмака — щенка или перемазанного трехлетку, бросающихся под ноги, могла закачать на руках до счастливого визга или провала в краткий сон первого схваченного во дворе живого...

Рядом с Татой — спали на соседних кроватях, прощались на ночь строго, по-малышья, пожимая друг другу ладони, выпростанные из-под пошедших катышками одеял — Лета всегда чуть сбрасывала свечение, как будто с кончиков ее пружинящих волос опадало немного электричества. В Татиной изморози, в ее усталости невысказанного Лете было неловко искриться. И она убавляла, выкручивала ручку влево, тушила, ждала. Опускалась на землю и садилась рядом. Тата поднимала от колен глаза, смотрела исподлобья, — Лета знала, *что* невидимое рассматривает та на коленях — и казалось, что где-то у переносицы начинает хмуриться тень улыбки, как собираются в шепот для молитвы пальцы, как сбегаются к дождю облака...

Второй осенью в Темниковке по дороге в школу чавкало, как чавкало от века каждую осень, казалось, что река по-весеннему разливается и весь путь с Горы становится сплошным рисовым полем, хотя текло, конечно, с небес, Ноевым потоком, и еще, казалось, разумнее было, конечно, идти босиком. Холод приструнивал даже Лету, которую все относящееся к жизни волновало до дрожи. Лужи с наметанной на дно падалицей листьев, зияния подошв, малый ломоть, выданный на завтрак, исчезнувший бесследно в животе и оставивший по себе горький след... Последнее заставляло злиться, мерзнуть, мечтать о масличке на том кусочке. А жар, облачко изо рта дворовой камарильи, ластившейся к ней, даже когда шла с пустыми руками, и то, как за березой вдруг просиял отраженный в дожде бордово-оранжевой каплей последний червивый подосиновик, радовало до зуда в коленках, хотелось вскидывать их еще выше, выше, но вода тяжелила шаг...

Тата брела рядом тихо, не поднимая даже волн, жизнь как будто не задевала ее, не терзала — и не дарила. Мирное соглашение, Темниковский пакт. Я тебя не живу, и ты меня не трогай. Буде. Больше не надо. Минуй. Нет плохого — и хорошего тоже нет. Нет доброго и злого. Нет меня. Я иду за нее, за ту девочку из эшелона, которая должна была быть мной. А кем должна была быть тогда я? Нет ответов, а значит, нет и правды. И смысла — тоже нет.

Только папина — как будто — пуговичка...

Лета, конечно, вносила хаос в мерцающий мир внутри Таты, который более всего напоминал питьевую воду, которую пытаешься унести, не пролив, в ведре, взбираясь на гору... Иногда Тате казалось, что она колодец. Иногда — что ведро.

Второй осенью в Темниковке было так же мокро и темно, как и первой, ноябрь изматывал, брал свое, являлся по утрам, шурился тонкой пленкой трещин на лужах, звеневших хрустальным сервизом из какой-то нежитой жизни... Его, этот ноябрь, нужно было доволочь до школы, спихнуть под парту, донести обратно на Гору,

сложить на ночь под кровать, чтобы утром снова увидеть в окно гримасу белого клоуна из разбежавшихся морщинами луж... «Татка, ну Тат!» — тормошила подругу рыжая, теперь уже не с умыслом и не в отчаянии, а просто наудачу, надеясь, что вдруг ткнет туда, где живое, и она отзовется, или просто выпадет солнечный день. Тата кивала, ускоряла шаг, жалась поближе. Голые ветви Сада за спиной залезали в сизое небо, копошились там, ковыряли, как будто хотели отжать тучи или проведать души, чьи тела спали под корнями яблонь.

Тата Тутина была самой тяжелой из подопечных Леты Городецкой: ей не требовался кров, корм, ласка — ей требовался покой. Забудь уже, господи, как будто говорила Тата — хотя никогда, конечно же, вслух. Но пуговичка все же давала Лете надежду... Если что и было больного и живого, то это была она, пуговичка, виденная Летой однажды — Тата показала, быстро, как крылом махнув, раскрыв ладонь и дав причаститься — и вскорости похороненная в Саду. Лета знала, что Тата о ней тоскует, думает, водит пальцем по одеялу в темноте отбоя, восстанавливая все маршруты старой меди...

Толстый том «Маяки Российской Империи» Лета выхватила краем глаза: огненный локон застил картинку, — резкий поворот головы — но она успела прочесть глубоко выбитые в мякоти обложки буквы, когда тащила мимо, прижимая к животу, пухлую стопку чуть прелых газет, перевязанных бечевой, — на прописи классу. Вернулась, когда ее ухода никто не заметил, — лишь Тата — хотя это было сложно, как если бы в зале, где никто не слушает, но все слышат, вдруг бы замолк тысячесвечовый оркестр. От голода было легко и пьяно, Лета подползла на коленках к плотным, давно никем не двигаемым книгам на нижней, у пола, полке, опыленным лишь сверху, по обрезу, а с титула — незамутненным, и вытянула «Маяки». Листать нужно было внимательно, но быстро, и Лета листала. Нужный — странный, двухъярусный и пузатый — оказался скоро, узнала его по кресту. Задержала дыхание на взвизге отрываемой страницы: было не жалко, маяки Российской Империи вскоре все равно пойдут на нужды всеобща темниковской шпаны...

— Вот, — Лета достала откуда-то из груди тонкий, сложенный вдвое лист, разгладила, положила перед Татой на застеленную кровать так, как конкистадоры выкладывали перед сообщниками карты золотых приисков и тайных индейских схронов... — Это он. — Опомнилась, дала паузу, чтобы несмеяна рассмотрела картинку, и прочитала ей, с выражением, название, подпись под фотографией, справку... Увидела, как облачко дыхания слетело с Татиного чуть приоткрытого от удивления рта — можно было не прикладывать зеркальце: жива! Ликовала.

Обе они не знали, что в поход за звенящей медью пуговички с маяком Тата отправится уже одна. И засыпали, забыв разъединить сцепку рук, висячий мост между кроватями.

Наутро ноябрь больше не шерился и не царапал: Сад оказался укрыт теплым снежным платком. Работа была тонкая и авральная: с неба больше ничего не летело, все просыпалось ночью, в чистое окно было видно чистое небо, и казалось даже, что ногам стало теплее.

А еще через осень Тата увидела поверх черно-белого наброска Сада, поверх сетки ветвей, поверх тонко прорисованных абрисов генеральских яблонь, как в Гору поднимаются за ней. Поняла это безошибочным нюхом, дарованным провидцам и страстотерпцам, — тем же, который выведет из чащи духа острова встречать ее на Тамарин причал, в самом конце пути.

Немоты своей перед свершающимся разделить Тате было уже не с кем. Рыжей Леты больше не было с ней.

Свои вдовьи сильно за сорок женщина несла вверх с умом, слаженно и размеренно, забыв на время подъема о выбившихся намагниченных прядях, подцепив повыше юбку, дыша тяжело, но с расчетом, полагая одолеть Гору за один присест,

экономя силы и не думая о том, как в этот миг выглядит со стороны. Она умела вовремя отключать это беспокойство напряжением другой мысли — «я хочу, и это у меня будет». Сейчас она хотела забрать себе ничейную девочку — ей сказали, четвертый класс, рост выше среднего, нелюдимка.

Так в Темниковку пришла Аглая.

Тата увидела, как та бросила освобождающий жест, добравшись доверху, как поправила весь причиненный подъемом беспорядок в наряде, оценила себя со стороны, переменяла руки с кулем — там была одежда для девочки ростом выше среднего — и пошла к веранде. Тата отступила за колонну, чтобы на миг отдалить встречу, понимая бесполезность уловок. Попрощалась с маскаронном. С Летою. (Обе они проводили ее молчаливо, одними глазами: женская гипсовая голова чуть свернула улыбку, как будто говорила: все так, все серьезно; Лета Городецкая подмигнула из Сада: конкистадоры!)

Здравствуй, Тата, я твоя тетя.

Тетя сложила на нарядной груди руки, привесила улыбку, которая, ей казалось, могла сгодиться в этом месте (в льняно-седом сумраке раннего осеннего вечера усадьба сама глядела, как беспризорница, сирота, старая приживалка — ранено и устало), но скулы привычно держали вьезшуюся маску удачливой охотницы, прилипшие к мышцам черты не хотели сходить с насиженных мест... Потом Аглая поманила к себе, спустив одну руку с пьедестала. «Тата, собирайся». Все с тем же расчетом, с умом, ловко присела на корточки, раскрыла куль, и по тому, как любовно уложены были там будущие Татины вещи, как розовый — бекон на разрезе — нежно перетекал в салатный, как выпячивалась стопка накрахмаленного, синеющего белья — маечка с оборками, трусики числом пять, Тата поняла, что Аглая не плохая, хотя ей и не предназначенная. И еще Тата поняла, что теперь придется взять еще и этот груз — стать дочерью этой тетки. Утолить чужую жажду и прихоть, составить смысл ее угасающего времени, в котором Аглаины женские чары еще были востребованы, но уже как-то у самой стал пропадать азарт...

Аглая не была красавицей, с каких пишут портреты и прелесть ее передается с холста изумленной толпе, но была из породы женщин, на которых клюют, как глубоководная рыба клюет на личинку мясной мухи, купленную звенящим утром в рядах старого Птичьего рынка. Муж всегда потом, зная безнадежность задуманного, с опаской, с глухой надеждой, задумчиво усаживая ее в нескольких метрах от мольберта, удивлялся, как неуловим этот морок, заставивший его бежать за ней все их супружество, как будто за ребра его продеты крюки и веревка, и как непередаваемо это наваждение красками. С портретов жены, которые он писал — с первого же наброска поняв бестолковость происходящего, писал из долга и чтобы Аглае угодить, утихомирить, замилостивить, — смотрела одна из, неособенное лицо, жадная бабенка, тряпки ее больше оставались в памяти: что-то накрученное, цветастое поверх прически, аки попугай, брошки неизменные, иногда вместе с бусами — жадная ворона. Прикрывала всю себя цацками, торговля шла хорошо, клевало. Муж, добытый муж, иногда в приступах злости и боли едко думал, успела ли та принять душ после долгой электрички из своих Кимр или прямо так и попала в его вечные объятия...

Впрочем, совсем старым он не был, но был строг и сед, холост и пропал с первого же взгляда, как только попытался кончиком кисти перенести ее льющий соком образ — дотронувшись до выдавленного из тюбика масляного червя, охряно-розового, сочного, густого — на холст, и пока только заносил руку, уже внутренне плакал и молил: пропади пропадом эти холсты, имя, членство в союзе, квартира и останись мгновенно, душу продам, и все, что хочешь, проси, только останься, останься, я не помню уже, когда последний раз раздевался перед женщиной. Даже когда хотел этого — не помню. И она осталась — пришла с улицы, позировать, голодная, — осталась не ради сиюминутного прокорма, но, рыба глубоководная, сразу поняв, что здесь можно будет кормиться до самой смерти старика и потом тоже, если отпишет



квартиру в завещании. А пока он мазал, водил какие-то линии, ничем Аглаины посредственные по сути черты не напоминающие, пытался заговорить руку, чтобы не дрожала, все искал слова, чтобы описать наваждение — «неволью смолкнув, старцы встали и расступились перед ней» — и представлял, что под дешевым кулоном, с полным правом разлегшимся зеленой долилкой меж двух светлых, как творог, холмов, кожа, наверное, чуть влажна, и виски ее тоже под сеткой испарины, в мастерской душно, боже, да это же я надыхал, неужели она слышит, как тяжело я дышу... Представлял, что, если заснет на его руке, то он ничем ее сон не потревожит, пусть нарушится циркуляция крови и руку отрубят, но пусть она с ним заснет, на рассвете, приникнув. Представлял, как может она пахнуть и как вообще, бывает, пахнет, забыл, я все забыл... Все кисти были перепачканы, мальчик-подмастерье все время мешался под ногами, приносил не то, старик рычал, ревновал, потому что Аглая зыркала на юношу блестящим глазом, и все искал объяснений (что? что? то, как ложится волна волос у скулы, чуть растворенный, как жемчужная раковина, ждущий рот, молочные пальцы, что было не так, откуда это ощущение, что в мастерскую явилась Елена Троянская, почему он выгнал мальчишку, пошел за мытыми кистями сам и трясся всем телом над раковиной, испрашивая смерти, освобождения — или немедленного решения и соития). И еще гнал, гнал мысль, которая в намеке зародится сейчас, а оформится потом, незадолго до смерти, в середине войны (умрет на Аглае, жалкий, влажный, счастливый), мысль, которая, как муха на неукрытый кусок, будет садиться и жалить, жужжать, кусать в сердце, пока он, вперившись взглядом в Аглаин облитый, как глазурью, крепдешинном зад, будет присутствовать при одевании: когда она оглаживает волосы у трюмо в темной спальне его квартиры, он думает, что в Ленинграде такие сыты всегда, всегда — меняют хлеб на бриллианты.

Впрочем, желания — прижаться к ней животом и придавить так, чтобы хрустнули кости и кисти — это не отменяет.

И Аглая осталась.

Одно искупало Аглаю в этом ее жадном беге по закраинам судьбы: очень жалела детей. Сама была бездетна вследствие перенесенного в Кимрах воспаления малого таза. Обнаружившееся наличие где-то там, за горизонтами, сироты, племянницы мужа, которую тот с начала войны начал искать, раскрыло перед Аглаей, все получившей от старика сполна и не отказывавшей себе и в других источниках, новые горизонты. Аглая начала стареть — и надо было готовить себе достойную старость.

«Серёжу убили на фронте, это я понимаю, если такое вообще можно понять, но мать, куда делась ее мать?! — Видя огонь на чуть растекшемся лице жены, когда он заговаривал о пропавшей девочке, племяннице Таточке, старик всегда начинал ходить по комнатам шире, полы халата поднимались и оголяли его полные, расплывшиеся колени. — Ну почему нельзя было уберечься, не умереть! Кому теперь остался ребенок! Тем более такой болезненный!» — распаялся муж, имевший о дочери брата единственные сведения: Горский тубсанаторий эвакуировался на восток. Аглая старалась не смотреть под полы и выгадывала, где девочку положит, не в их же спальне, освободить кухаркину комнату — тоже плохо, нужен воздух и свет, платья на первое время сошьет наугад, на вырост, и, конечно, обязательно летом на съемную дачу, вот на первое же лето, еще в мае, чтобы и молоко, и речка, и в лото перед сном, и всему ее научит, всем женским хитростям и секретам, и будет наперсница и компаньонка, и замуж выдам, и еще посмотрю, чтобы зять... Затерянная где-то на востоке сирота — племянница мужа рисовала перед Аглаей интересные перспективы устройства дальнейшей судьбы, приятные хлопоты и темы для застольных атак. А может, заглушала начинавший поднимать внутри нее голову страх... Грохотавший бессильно голос мужа возвращал Аглаю обратно к его халату, на котором она старалась не останавливаться взглядом, но все в комнате было так изучено и постыло, что, когда муж на ней однажды затих навсегда, она только погоревала, что девочку одной найти

будет, пожалуй что, трудно, все-таки мужнины связи бы помогли, но она найдет. И получит ее.

И она нашла.

Собирайся, Тата.

И Тата собралась.

Быстро, не прощаясь, забрав с собой немного, то есть все, что было: обмылок сухаря, что остался у Леты под подушкой, сокровенное лакомство, утешение на сон грядущий, приз дня, и пуговичку, которую успела вырыть из схрона: как собака, раскидывая комья и быстро-быстро вгрызась ногтями в тронутую заморозком задубелую землю.

Не боясь разоблачения. Ожидая его. Надеясь, что придет настоящая мама настоящей Таты и все закончится. Все совсем, окончательно закончится. Но к ненастоящей Тате пришла ненастоящая мама... И оказалось, что нужно тащить новый груз, и так он оказался тяжел, набухший всеми осенними дождями, стекавшими по высоким окнам спальни девочек.

Аглая девочку не узнала. Не могла ни узнать, ни разоблачить — племянницу Таточку и старик-то в глаза никогда не видел.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Потом уже, нескоро потом, я нашла много подтверждений тому своему озарению, которое снизошло, когда я увидела любовно уложенные Аглаей вещи в куле, мне, неизвестной, предназначенные. В ней совмещалось, казалось, несовместимое, и боролось, конечно, между собой. Она могла растолкать гастрономную очередь локтями, а потом уступить место тому, кто и не просил, пропихнуть вперед лайковыми перчатками. Любила жестяные, обернутые чуть промасленной бумажной наклейкой баночки, добытые ей одной ведомыми путями, которые с сочным хряском открывались консервным ножом, и ела подолгу и с аппетитом, каким-то мужским и всегда меня отталкивавшим, но по временам впадала в такую искреннюю аскезу, что казалось — держит пост. Посреди всей этой нашей военной маяты — сводки, помощь фронту, тревоги — ходила на высоком каблуке, напоминая неколебимую Шуховскую башню, ногти в красном лаке, главная Кармен нашего подъезда, ну и тюрбанчик ее цветной и извечный — женщина, полная желаний; а ведь при этом ничего не стоило ей всю ночь провязать носки для каких-то новорожденных из соседней квартиры и потом подложить их под дверь вместе с консервами, оторванными от сердца, постучать, подмигнуть в щелку, кивнуть тюрбаном... Курила в ночную Москву с балкона длинные сигареты, вдыхала жадно, тоже по-мужски, потом пела мне горелыми губами что-то фальшивое на ночь, голоса у нее не было. Меня — я так и не поняла, то ли полюбила, то ли возненавидела, а может, то и другое сразу... Как будто в ней все время шло незатухающее сражение: Кимры ее и столица, гулящая баба и нерожавшая мать, желания души и обстоятельства тела... Хотя ведь многие так и жили, прямо посреди этой линии фронта, проходящей по чему-то трепетному и живому внутри, и это противоречие не отнимало у большинства так много сил, как отнимало оно у Аглаи. В этих ее метаниях моего неучастия, безвольности она не то чтобы не замечала, просто на борьбу за меня у нее не всегда хватало разгону, были же еще мужчины, вечера, туфельки, последний вагон, в который она не отчаялась еще вскочить, сцапать оставшиеся на елке золоченые орехи... А то, что со мной Аглая ошиблась и не буду я ей утешением в старости, она поняла довольно скоро... И моего исчезновения — уже после нашего последнего отчуждения — она, мне кажется, могла даже и не заметить. Мне так хочется думать, что она из-за меня не плакала, не горевала.

— Все собрала, деточка?

Аглая так давно примеряла на себя эту материнскую роль, ей казалось, так была к ней годна, но язык никак не хотел принаравливаясь, не справляясь, медлил, и тетка

спотыкалась, нервничала, закидывала голову и опять нащупывала у себя за золотыми зубами определения, и опять все не те, не те. Девочка. Таточка. На последнее Тата зыркнула — и обмякла, гордый воробушек, и жалея этого чужого, неточного, оперенного и взъерошенного попугая, в этих нищих и вековых стенах так дивно яркого своей зеленью юбки, тюрбаном малиновым и черными лайковыми коготками перчаток, и одновременно страшась ее, и ей же сдаваясь... Аглая вынула из раскрывшего зев куля с детскими вещами бордовое, дорогой шерсти, не знакомой Татой фактуры пальто, как будто стадо овец выгнали ей под ладонь и дали погреться, приложила к спинке, причмокнула... — Еще шляпка. Одевайся!

Соловов так и запомнил худую Татину спинку, вставленную в эту богатую шерсть, — как любимую картину в не идущей к ней вычурной раме — спускающуюся за Аглаей с Горы. Тата тоже увидела всю сцену — глазами провожающего ее маскарона. Казалось, что в пролесок спускается подосиновик в фетровой шляпке, мелькая бордовой каплей в брызгах последнего перед зимой дождя.

Ноябрь — листожной, листовей, грудень, ледень, ледостав, полужимник. Коли ноябрь сухой и ясный — то для следующего года опасный. Поздний листопад — на тяжелый год.

## *Глава 5. Аглая Волховстрой*

У всех, к кому Тата — девочка, женщина, старуха, сразу всё и вся — потом придет, будет преимущество, которого не было у Леты (и не будет у Аглаи), маленькое утешение, мятная конфета от горящего горла — время, чтобы умереть в своей постели. И рассказать.

Иначе бы и невозможно.

Только — рассказать.

Живого вещества, души, сгустка нервных клеток, сиянья Тата не принимала — оставляла тому океану, откуда все то вышло когда-то. Оставляла до особых распоряжений, ни на что большее не имея ни дара, ни полномочий. Но забирала себе — судьбы. Плотный переплет, тугую дневниковую тетрадку, шифр, конспект, карточку из каталога — прожитого и неслучившегося. Ну боже ж мой, право, возможно ли, чтобы это исчезло, истлело, неузнанное, навеки?.. Вот это вот все! Босоножка натерла, кожа вздулась, как будто изнутри в нее, как в парус, дует боль, но любимый сорвал подорожник, слизнул пыль, прилепил его на рану, слюна прохладна на этой жаре.

Или: «В саду, четыре часа утра, поздний холодный апрель, разминаются какие-то подпевчие птицы, чтобы к будильнику всю за окном висела стройная распевка солирующих соловьев, — пробуют горло, скелеты деревьев как нотные станы — остаётся только включить ноут и открыть чистый лист, сроки горят, горят, как обычно, и строки тоже».

Разве возможно, чтобы это пропало?

Еще голос из хора: «Плавать научилась на Ахтубе, в июле, в восемь лет: дно в кратерах, только зашла по пупок — вчера приехали, первая вода — провалилась с головой, барахтаешься, не дышишь, дышишь опять, плывешь. Ужас, восторг — прям до мурашек, даже сейчас, вот, потрогайте мою руку».

«Любимые цветы — пионы, такие нетугие розы с распущенными волосами, вольняшки, свободные, не собранные в рюмочку, в поцелуй цветы. «Сара Бернар» — роскошные; ещё оглушительный, дедовский молочного цвета сорт, куст, огромный, как смородиновый, сидел на одном месте сорок лет, и сейчас, может, сидит; только простецкие, худые, травянистые, ярко-розовые, девчачьи я никогда не любила».

Все это многоголосье попадало в Тату, оставляя смертных своих хозяев, чтобы

никогда не перестать, чтобы последним костром обжечь черный космос, чтобы... Зачем это — Тата не знала. И почему вдруг — ей. Но делала что умела. стакан с водой, мокрая тряпочка на лоб, подать бумагу, оторвать что-то в ящике стола, вымыть пол, покормить с ложки. Где как. И везде — главное: слушала. Вбирала. Запоминала. Провожала. От постели уходила звенящей, легкой, хотя, казалось, наоборот, под тяжестью услышанных историй, которые больше некому было доверить — или помираешь один, или не один, но никто не спросит — должна была уже осесть, как баржа.

«Когда разлюбила мужа, вдруг увидела, что он лыс... Вернее, когда увидела его лысину, то и поняла, что разлюбила: на фотографиях-то видно, что она была еще до свадьбы».

«Иногда мне хотелось убить. Чтобы слышать, как там все заканчивается в теле: бульканье, хруст, хрип, чтобы больше никогда, никогда этого унижения, ора, бессилия. Не убил. Она сама умерла, а я без нее не могу».

«Тамара Семёновна сказала, твой поезд ушел, Санёк, в пионеры тебя не приму, в музей революции ты с классом не едешь — болит до сих пор, хотя Тамара Семёновна в гробу, а я давно не хулиганю».

«В городском парке была танцплощадка, Бони М, Дитер Болен, Скорпионс, я прижимался носом к прутьям решетки, еще теплым с дневного солнца, густо, смоляно тянуло от сосен елеем, крыша ехала, они внутри танцевали, я знал, что в сентябре она сядет с ним, и мои домашние и контрольные уже ничего не спасут, не буду же я на их парту слать самолетики, честно слово (потом на ней женился все-таки я, и с какой же жалостью на меня он долго смотрел на регистрации, мой лучший друг, свидетель)».

Тата не была скопидомом, рачительной хозяйкой, эти чужие слепки бытия носились в ней скорее ветрами, чем прибранные лежали на полках, ей они не мешали, точно не мешали, не заслоняли ее саму, ибо ее самой не было. Не должно было быть. Что важно, она не помнила ухода тех, к кому приходила, но помнила лишь то, какими они были до нее. Финал же сливался в один образ — руки на теплом плече, голос, она пришла сама или ее позвали, заступила на смену или привели с улицы, и пусть иногда это были и путники, никак не приписанные органами соцзащиты ни к каким пунктам отбытия в вечность, и они пересекались в другом измерении — сути это не меняло... Тату ждали те, к кому она приходила. И она приходила.

Истории эти Тата не рассказывала. Не скоморошничала на ярмарках, не вынимала из рукава тузов в нужном месте разговора, не выдавала тайны исповеди, вообще не трогала — несла. Полная ладья. Не знала, зачем и куда, не знала, как долго, но тянула полные трюмы первых детских словечек, обрезанных на память мягких волос, в конверте без марки скатавшихся в войлок, нетленных дагерротипов, от которых явными оставались только выбитые черным и витым имена фотографов, Петроградская, например, сторона, 17... В качку стукались о борта телефонные трубки, и все это алеканье — «барышня, не слышу, встречать двенадцатого, вернись, у нас сын, у меня от вас пропущенный вызов, я в метро, ты хотя бы поужинал» — плескалось морем голосов, и да, Тата была не Хароном, нет, за гробья ей не доверяли, но лодкой его она была, лодкой, на дне которой, на гнутых влажных досках, оставляли поклажу, ненужный там скарб с сюжетом, прописанной линией судьбы, черновик, в один миг и ставший единственным, не подлежащим корректуре текстом. Фараоновой пирамидой, в которую заживо с царем погребали жен, воинов, кошек и ростки пшеницы, вот так же и Тата — заживо держала в себе все, что было дорого, прекрасно, ужасно, неповторимо — пока это было, было. Чтоб было и дальше.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— По Темниковке я, конечно, скучала, не скучать было нельзя, потому что впоследствии я так и не обрела никакого иного своего дома: углы все не в счет, разве что у постелей тех, к кому приходила, пожалуй, чувствовала себя на месте... В

Темниковке же — пусть делимый на всех — у меня был очаг (крайняя постель у высокого окна и хранящий его дух, маскарон), и даже несвобода наша оборачивалась для меня своей болезнью изнанкой: меня всегда ждали, ведь я нужна была для паек хлеба, книжек со штампом, ботинок, носимых по очереди, я нужна была для галочки, для того чтобы заведенный механизм продолжал вертеться, и в этом было много простого, понятного, пускай не важного, но как-то держащего меня в моем теле: построений, расписаний уроков, одинаковых зеленых одеял, ровных, ровными же спинами пропалываемых грядок за верандой, вечно басимых пубертатными мальчишками стихов к каким-то нарядным датам, и в этом всем был свой ритм и смысл...

Я скучала по Темниковке в дождь. А кто в дождь не скучает?.. Маялись, выли в подушку, прикусывали костяшки, барабанили, не слыша стука, в окно, лежали с закрытыми глазами, долго, когда дождь переставал, пропускали ужин, — те, к кому я приходила, но я в дождь только скучала: по детскому дому, по тому, как далеко был виден из его окон потемневший, сырой и высокий лес, по тому, как в такие сонные, тяжелые утра я просыпалась не от сигнала, а от Летиной руки, лежащей у меня на лбу, словно чтобы сбересть от ударной волны пробуждения, задержать тревогу пробудки, выудить, как древнюю рыбу из омота, из моих снов... Я открывала глаза, Лета прыскала и пересказывала потрясшие за ночь усадьбу новости — все время что-то воровали, влюблялись, вершили справедливость и творили преступления — и дальше я уже сама, сама, шла в этот день. Дождь за моей спиной продолжал замазывать серым варом картинку — обрыв с Детской Горы туда, к людям — и моя вахта, мой пост — ожидание мамы — ждал меня до вечера брошенным.

И память этого ожидания, да, она тоже всегда приходит с дождем... Вот как сейчас, когда рисунок за окном быстр, неуловим, как легкий набросок, который никогда не станет плотным полотном и музейным экспонатом, и тем прекрасен, и я снова жду, жду, и так давно жду, что забываю, в чем ожиданье, и лишь инерция нервных синапсов держит меня у окна, в моей памяти, в жизни.

Колокольный какой-то, медью звучащий полустанок, сето-зеленое межсезонье, — октябрь, апрель? — снова женщина в форме бросается поезду наперерез, как будто не тьмы железных вагонов проходят мимо за сутки, как будто именно в этом мчится ее судьба и нужно успеть, остановить, взмахнуть или хотя бы послать тревожный сигнал. Высокая старуха устала, но не присядет, и ей кажется, сказано многое, но сколько еще предстоит? Кто ее слушатель? Внимает ли? Просит ли чаю? Кемарит?.. Перепончатый стук, как на стыке вагонов, когда страшно шагнуть, — так лопаются околоплодный пузырь, так рвется тугая кардионитка (умер от разбитого сердца), так прорезывается первый слог, ма-ма-ма-ма... Я ли то, я ли? Седая... Я ли то? Тата ли?.. Кто же я, господи?

— Самым нелепым в Аглае была ее попытка даже не приручить меня — но слепить по образу своему и подобию. — Тата набирает воздуха и продолжает: — Дочерью ей я не была — но она не могла мириться с тем, что я и не хотела ею стать... Как плененную животинку, отвоеванный край, Аглая хотела меня перекрасить в свой цвет, застолбить, пометить, а я все не шла, упрямым теленком подставляла рожки, глядела исподлобья, когда тетка приближалась ко мне с щетками для волос, отрезами кашемировой шерсти, огуречными масками... Аглая, полная жизни, жизнью созданная и в ней укорененная, так искренне недоумевала, так горько печалилась, что ничего-то мне не было интересно, ни бигуди ее, ни сплетни, ни наука обольщать — соседок с сушеными яблоками (за неимением марципана), что я не цыганила жемчуг, не стучала каблуками ее вытщенных с верха пропахшего лавандой гардероба лаковых свадебных туфелек, не просила тронуть щеки пуховкой пудры, не жаловалась на соседку по парте, не была влюблена в учительницу (в школе я проучилась недолго, так недолго, что никто и не успел заметить, что я не умею читать), не ждала каникул, не просила собаку, не, не, не. Отстала она от меня в один день,

*просто махнула рукой, и мы стали сожительствовать, как два чужих друг другу человека, как в сущности оно и было, — после того как...*

Тетка в тот вечер была тяжела, я видела, как трудно ей давался этот загрёб через веселье очередного — стыдного, урванного у военного лихолетья — застолья, как подламывались каблукы, съезжала корона, но приз был высок... У того человека, кажется, что-то связанное со снабжением то ли армии, то ли Большого театра, вдовца, был мальчик, сын, он зачем-то притащил его в нашу квартиру, и Аглая, моя старая Коломбина, мой пьяный стражник и хорохорящийся птенец, трогательная в своей детской настойчивости — «хочу, хочу!» — и отвратительная в решимости наступления, подвела меня к тому, второму, ребенку, которого отец, странно, ничем-то не успел развратить, и толкнула меня между лопаток, капнула какого-то меда за ухо, напутствовала, иди, околдуй, покажи своих кукол... (нетронутыми, к слову, сидевших рядком, на магазинных коробках). И лучше бы он обнажил зубы, протянул мне руку, — или даже взял за локоть — и я бы покорно смирилась, но он, этот мальчик, стоял на краю той же бездны неловкости, смущения, пошлости и первый начал медленно в нее падать, белеть, я боялась, что он заплачет, заплачет первым — и первая закричала. На одной ноте, коротко, громко, зажав ему уши... Тетка к тому моменту уже дошла до стола, и вешала, легко накрыв хрустальное горло узкого бокала ладонью (над городом за окном плыла ночь, по городу, видимые с нашей верхотуры, — лимонные огни, но нас не отпускали спать); от крика Аглая потеряла равновесие, ладонь приняла вес тела, ножка хрустнула, хрусталь брызнул, сине-бордовая изабелла смешалась с Аглаиной кровью, в бинтах она носила свою руку потом еще долго, а тогда — все закончилось быстро, и я гладила ее по запястью над раной, видя, как на идущем на город рассвете — на верхние этажи он проникал быстрее — белеет в одинокой постели ее кожа, и в этом сером свете непонятно было, молода она или стара, но по тому, как тетка молчала, наконец-то молчала, понятно было, что уже поздно, для всего — и для нас с ней, и для нее, для нее одной.

Через несколько дней — просидели их по своим углам, Аглая ласкала руку, материла хозяйствующего ангела фронта — был подписан акт о капитуляции, а наутро я растворилась в поющей толпе, в общем-то и не замышляя этот побег, но давно ожидая часа свободы.

После бессонной ночи — все ждали сообщения по радио, в 2 часа объявили, после долгой прелюдии маршей, сообщавших видения исчезающих за горизонтом полков — мы вышли из дому вместе, впервые Аглая не держала меня за руку и как будто даже не искала взглядом, когда я чуть-чуть стала отставать, со спины было видно, как разжалась в ней пружина, как будто запасной парашют не раскрылся и все, что осталось, это успеть наглядеться на всю эту красоту... Чалму она сняла, неуложенные, уставшие волосы рухнули, она несла голову тяжело, но свободно... Водки к вечеру в городе было не достать, но дома, я знала, были запасы, и знала, что она напоит весь дом и будет петь, не попадая в слова, и будет плакать, хотя пел и плакал тогда каждый, на каждой подножке трамваев, затопленных в уличной толпе, недвижимых, на каждой скамейке под кричащей о жизни сиренью, в каждом кумачовом окне, в каждом пропахшем постными щами подъезде... И я просто смешалась с толпой.

В ознаменование полной победы на Германией сегодня в 22 часа столица нашей Родины Москва салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

9 мая 1945 г. — тоже объявили нерабочим.

## Глава 6. Тифон Лодейное Поле

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— *Вся эта железнодорожная история, начавшаяся в эвакуированном эшелоне, продолжившаяся с изнанки часовой башни Киевского вокзала, а затем — в грохочущем столюпинском вагоне и заканчивающаяся — я думаю, она заканчивается — сейчас, эта история, простеганная ребрами одинаковых шпал, пропахшая железом, камертоном отзвывающаяся на позвякивание чайной ложечки в подстаканнике с клеймом спальных вагонов прямого сообщения и низким тревожным Тифоном гудящая в груди, она, как все единственное и великое, случайна, и то ли через тетку Аглаю пришел тот случай, то ли через мое одиночество, которое, как кетгут, латалось стежками верстовых вех вдоль нерва полотна, а потом рубцевалось под воздействием сперттого воздуха одинаковых ампирных зданий вокзалов на нитке Октябрьской железной дороги, обжигающего кипятка из титанов мягких вагонов, где я шастала невидимкой, прохладной росы, в которую окунала босые пятки, свесившись из вагона половиной тела и болтая на рассвете ногами где-то под Добринкой, — розжь подступала к подножке — где даже и станции-то не предполагалось: так, прыгнуть в поле, а чемоданы тем, кто имел роскошь путешествовать с чемоданом, выбросят следом. Сейчас бы сказали, что на поезда я «подсела», и да, я подсела на поезда, на их — это сейчас он бесиловный, так, что ты и не успеваешь мозжечком отметить тот миг, когда у тебя под ногами уже не твердь, а низкий, убийственный пролет между днищем и рельсами, сохраняемый в быстром движении — на их суставчатый ход, который каждые 12 метров возвращает тебя к земле, на стриженный, беспосадочный полет над ее поверхностью и привязывает тебя хотя бы к постоянности смены, да и какая это, помилуйте, смена, все тот же пейзаж, хоть направо пойдешь, хоть налево: узлы, бабы, крики, лотошники, водонапорные башни, пар, стрелки, утренний туман, ты все время едешь, все время стремишься — но никуда не спешишь и никогда не приезжаешь. Никто тебя не ждет. Зимнее движение. Летнее. Икша. Апрелевка. Ягодин. Белокоровинск. Олевск. Страшов. Долина Очарования. Граждане пассажиры! Пользуйтесь ресторанами и буфетами жел-дор станций, где имеется большой выбор вино-водочных изделий, виноградных вин, широкий ассортимент горячих и холодных закусок, порционных блюд, чай, кофе, какао, пирожки, сдоба, покупайте во всех магазинах и аптеках одеколон «Крымская роза»... Официальный указатель пассажирских сообщений на лето 1945 года, рекламные странички из которого от скуки были прочитаны вслух кем-то из моих попутчиков, я помню и сейчас, ты чья, доча?.. Я никогда не знала, что ответить на этот вопрос, в зрачках моих бегали волки, сама я бежала прочь, как стремится прочь привитый на дичок благородный побег — хотя со мной-то все было наоборот...*

Я помню выброшенных на зимний берег медуз где-то в стороне Майкопа — их лежалые тельца, преломляющие февральское солнце, говорили мне о приближении весны. Я помню, как больно было прыгивать, когда поезд на пружинящем ходу шел в ожидающую его на горизонте ночь, и приземляться где-то на насыпи на колени. Я помню гул земли, исполосованной прутами рельс, загнанной ближе к ядру, и запах крымских трав, влетающих в бессонный жесткий вагон. Помню командированных на восстановление хозяйства с клыкастыми зашелками портфелей, помню шинели возвращающихся, после дождя пахнувшие остриженными овцами и порохом одновременно, помню, ближе к концу своего странствования, шляпки, котомки, салфетки на откидных столиках, но я-то, я-то, конечно, все видела вот примерно как сейчас — густым мазком смешанных красок, будто выдавленных из несуществующего тюбика, содержащего зародыши всех сразу на свете цветов...

*Я помню, как остра осока под крылатыми мостами над сибирскими реками, где я, такой же береговой улиткой свернувшись, ждала рассветов и попутных поездов — не зная, где моя сторона... Я помню пирожок с яйцом, подобранный с тарелки в буфете Киевского вокзала, боком своим пропеченным ведущий диалог с охрянными, медовыми стенами у входа*

*для пассажиров первого класса, я помню, как следила за недоевшей его темной шляпой, слившейся с толпой в размазанном свете дебаркадера, и то, как долго тот пирожок таскала за собой в бумажке, берегла... Я ездила без билетов, в аккумуляторных и бельевых ящиках под вагонами, невидимой тенью проходила меж пассажиров и контролеров, спала в багаже, пила кипяток, воровала еду у станционных дворняжек, меня кормили поездные бригады и знали все попрошайки, но только я отличалась от последних — мне не нужно было ничего просить, и на день мне было достаточно и знаний, и пищи, — в конце концов, крапива тоже салат, и хотя тело мое и было моим, в отличие от имени, но можно было очень-то над ним и не трастись. И я не тряслась. Трясся путь под мной. Как сейчас.*

Переходная площадка между вагонами, затянутая брезентовым суфле, похожа на меха гармоники и ширму кожаных крыльев летучей мыши одновременно. Зимой их залепляет сплошным сугробом, но летом они как будто придают ходу составу, идущему за леса, надуваются ветром с равнин, дышат воздухом строящихся городов и полевых полей. Иногда Тата «надевала» на себя эти крылья, замирая на переходной площадке и распластав еще сильнее выросшие и такие длинные руки по сторонам, пригибая заросшую и невытую голову к груди и лоя ртом воображаемый ветер... Пока не приходила пора прятаться. Прыгать. Бежать.

Непривитый дичок стремился прямой луковой стрелкой — стрела лука и изгиб стрелки железнодорожной, как все рядом, только руку протяни! Прочь из города — и в города. Щёкино, Печоры, Петушки, Ряжск, Сарепта, Сулин. Сгинуть, скурвиться, пропасть — все можно было успеть, а Тата — только росла (и ботинки следующего размера уже ждали ее, забытые кем-то под лавкой вокзала), набухла изнутри, нигде не разорвалась, цельнокроенная. Задубела кожа, сбились в валенок космы, черные дуги из-под ногтей утекали в речки, остатки сгрызала, дышала чисто. В Орле на рассвете бабки продавали лесную чернику, как продавали последние сто лет, от земли пар, коровы режут за лугами, выставишь язык — а на него солнце упало лучом, тепло и сладко, спишь ночь у какой-нибудь из старух, потом ловишь шалый товарняк. Коленки в синяках, дальний зуб остался где-то на станции Варежка, с Евстафьево за тобой бежал пес, с которым ты ночевала в обнимку под ржавым вагоном в депо, потом лег в сокрестьи рельс, сделался точкой через минуту, потом рывок — и навсегда многоточье... Густое и понятное, несложное бытие — и сложная, текущая параллельно, являющая иногда свои лики внешняя жизнь: начальственная черная «Волга», переложенная на железнодорожный ход, инспектирующая узкоколейки, — из нее однажды помахали, хотя водила был толст, ел батон с попки, печален, и Тата подняла соломенную голову изо ржи на откосе, осоловевшая от дневного сна, сняла ртом черную земляничину, перевернулась на спину, на золотом остался кровавый след от раздавленной ягоды и еще один, девичий, Тата удивилась, но не испугалась, встала с росой, от вечерней прохлады. Над головой прогромычала со стоном дрезина. Или вот бывшие свитские — и бывшие международного депо спальных вагонов — богатые прямоугольники на деревянных рамах, билетик получите в отдельной кассе, винный плюш, запах сигар, въевшийся в шторы, красное дерево, тепло, оставленное в них холеными руками, ласкавшими эти поверхности, — пустила однажды проводница, пожалела, дала карамельку... Тату не гнали сильно, не гнали зло — просто так, как придется, не потому что ребенок — потому что смотрела так, как смотрят умные и сильные в глаза бешеным псам — бестревожно, хотя внутри и прыгало, рвалось, висело на ниточке... Задерживали, наверстывали, летели, по ночам просыпалась от аukaющих голосов — из конца в конец вокзала: «Скорый за номером три миллиона пятнадцать осаживается на третий путь», и дальше оно грохочет за лесом, за морем, за долом. Прожила неделю в городке, сколоченном из железнодорожных останков, мальчишеском рае, на путях, хлопки надуваемого попутным ветром, развешенного между вагонов старого сохнувшего тряпья — будили дневной беспокойный сон. Но больше, конечно, все было просто и очевидно — синька неба, легкие, надышанные феррумом, неровный подколесный бой, тонкий вскрик гудка — и грудной рев Тифона,



зов земли, тревожный сигнал, и так по кругу, год за годом, город за городом, полустанок за полустанком.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Я так много ездила и видела, что однажды, когда вернулась в памяти к этой дороге, поняла, что дни и картинки спрессовались в такой плотный брикет «мраморного торта», какой пекла когда-то Аглая, что я не могу вычленишь оттуда нитей, не помню названий и направлений, только мерцания, всполохи, жажду... Где-то на станции Солодча чуть не умерла без воды, где-то в Пензе вынесли с подножки в поле барский обед — тефтели под соусом, заливное и компот — вынесли псам, я украла; за Уралом бежала за туманными огнями, отстав от поезда, и не добежала, очнулась от дурного вкуса на губах, в меня лили спирт, хозяйственный, нужный, подотчетный, а я плевала и лягалась, и низко и страшно давил потолок чуть ли не в метре над головой, и копотное низкое окошко, будто к гномам попала: это путевой обходчик меня обошел, спас, выходил, фонарем своим высветил в снегу, доволот в свой флигель... Две недели вязала ему носки, руки помнили с Темниковки, с уроков труда, и слушала байки, он сорок лет в этом домишке осилил и осиротел, прямо вот серебряное копытце... Помню ряску по кайме болот. Трогательные полоторные сиденьца пассажирских вагонов—узкоколеек. Громокипящие телефонные аппараты на грузных столах начальников станций, к которым меня порой приволакивали — с намерением передать дальше, но дальше у них никогда не шло, уходили сами, пятились, как будто-то привидение увидели... Сиплый октябрьский ветер в открытую форточку, уголок нестиранной шторы вальсирует, в дальнем купе кашляет чья-то дочь, я вжалась в стены, в двери, я пульсирую в такт движению, меня даже и не видно, я бледна, как линкруст панелей. Темные кишки подземных переходов в больших городах, выводящие к рынкам, слякоть и гул, спешащие толпы, опять жмешься в стены, сливаешься с их плесневой влагой. Теплый хруст сверчков в масляных фонарях полустанков, их смывает дождь, как смывает все краски. И остается только движение, маятник, тик-так, как ты привык, пассажирский поезд Сорога—Осташков отправляется с седьмого пути... Бывшие монашенки выносят лисички к составу. Широкополая шляпа и талия, перетянутая серым муслином, она присела, чтобы поцеловать мальчика — кудри, солома, ягодный рот — а я уже все пообещала, все, только чтобы попробовать, как она пахнет в той ямке у шеи, куда он сначала уткнулся, а потом убежал. Дачники колоннами, румяные и работающие, просто физкультура какая-то, корзины, ведра, навоз, а вы сколько подкормки вносите? Стиснуть помидорчик им посильнее. Украсть огурец, утопить палец в малине, будет лунка компота. В электричках тесно, тепло, шумно и быстро. С Киевского можно уехать на край света. Переделкино, Крекшино, Нара, Зосимова Пустынь, Малоярославец, Суходрев, Родинка... Встать на углу Дорогомиловской, поймать вечерний луч, упдающий в сторону Тверской заставы, проходя через линзы верхней площадки часовой башни Киевского вокзала, мысленно осилить, пробежать все 56 ступеней вверх, мимо трехтонной гири, мимо запертого в деревянную клеть — как синяя птица — времени, взвиться туда, откуда скоро все и начнется, туда, где в хорошую погоду с изнанки циферблата просвечен и виден ход стрелок — в направлении назад...

Я помню, как мы случайно столкнулись — в самый первый день моего беглячества. Я всегда была рослой, а он — карлик, лилипут, хотя какое значение имеет его рост, рост человека, хранящего время. Это, пожалуй, я его не заметила, налетела. В тот день, 9 мая 1945, на Киевском, куда меня занесло от Аглаи праздной, счастливой волной, разлитым этим соленым морем, заплаканным, выпитым, закушенным.... Карлик с ключом, я пошла за ним, поднялась на башню, хотя посторонним вход воспрещен, и он сказал, что правильно его называть часовник — человек, заводящий одни из последних — теперь уже, из наших дней глядя — механических часов в Москве, и вид этот на город — промеж густозамазанного, слюдяного, матового гигантского стекла циферблата, мимо стрелок, идущих в обратную сторону, таких огромных, что

могли бы поднять и карлика, и меня, и может быть, даже унести назад, туда, где можно было бы изменить: ему не родиться, а мне, Тате, не умирать — вид этот и это механическое чудо, смазываемое маслом и заводимое ключом в красной деревянной клетке, как будто время можно запереть и спрятать, все это вошло мне под ребра и осталось там навсегда. Я сползла с башни и отправилась по страницам железнодорожного расписания на 1945 год, своим длинным и невредимым телом ставя зарубки в пунктах прибытия и отправления, выпуская себя на волю, примериваясь к своему имени, слушая — ладонью — как дрожит в сгустке железа натянутой тетивой проложенного в склоняющейся к путям, обжигающей крапиве приближающаяся машина судьбы.

Уже Лодейное Поле, точка на карте, — ладья, лодки, пики, сабли — стоим три минуты, да и три тут нечего делать, 5.20 утра, от пути из варяг в греки осталось всего ничего — речка Ловать, так и текущая неспешно, и поля — поля все на месте, не дающие речке утечь туда, куда стремились варяги, жмущие ее по бокам, а смена *сейчас* другая, вечерняя проводница спит, а эта выскочила без жакета, так, в блузке, курит, сует бабке, тянущей с перрона руки вверх, мелочь за промасленный пирожок, трогаемся, запирает дверь, прислоняется лбом к мутному стеклу, плачет одними глазами, не мигая.

Тата так и не присела за ночь, рассвет — самое время, когда чаще всего умирают. Третью пути за спиной.

— Странно, что все эти длинные пути, прибои дорог не вынесли мне к ногам никаких окончательных встреч, а все самое главное произошло снова в Москве, когда железнодорожный бег мой был завершен.

Временами меня тянуло к Аглаиному дому, квартире, где — я знала — меня еще ждала моя комната, заваленная ее тряпками и пустоглазыми куклами, из которых я выросла еще даже до того, как их запаковали в мягкую бумагу на фабрике. Наши окна горели высоко, терялись в сливочном вечернем свечении башни, мне было не страшно, что меня опознают в темноте, я гляделась такой *тогда* каланчой, что ту девочку, что убежала отсюда в сиреновом мае несколько лет назад, во мне сложно было углядеть, и я просто стояла и слушала гул улицы, хлопанье подъездной двери, обрывки разговоров, сплетен, долетающий лай выгуливаемых собак, бубнеж консьержа. Потом уходила. Спокойная, что все на месте. Аглаю не видела ни разу, но чувствовала, что тетка там, наверху, пудрит нос, пьет свое вино и тоже выглядывает в ночь. Мне было важно знать, что с ней все в порядке — насколько это вообще может быть с человеком, как будто это я была за нее в ответе, как будто это я взяла ее тогда под крыло, а не она увела меня прочь из Темниковки. Я уходила — и несколько лет возвращалась, через месяцы, притягиваемая вольтовой ожигающей плечи дугой вины и страха, и как раз в такой день краткого возвращения — отряхиваешь железную пыль дорог, выходя из арки одного из вокзалов, отряхиваешь платье, жадно ведешь носом на запах сдобы у тетки под колпаком — в толпе меня задела плечом. Случайно, не больно, мимолетно. Обернулась. Прошли друг друга взглядами. Боже мой, да я на две головы теперь тебя выше, мучитель, — и дальше идешь так же ровно.

Рахитичка.

Всего-то лишь заняло это миг, и ничто не поменялось в окрестном движении, центробежном стремлении ног, но я знала, что обречена. И знала: в квартире, в башне, тетки уже нет. Это был последний мой круг. Веревка стянулась, узел мертв.

Аглаю Воскресенскую (забрала у мужа даже фамилию) хоронили, в общем-то, подъездом вознесшегося в небеса, лишь немного укорененного пенсионерками по первым этажам, молодого и важного дома на излете зимы. Душа мается, ни тепло, ни холодно, всюду бреши и следы, так и Аглае было беспокойно все эти последние дни: мальчик ласковый, юный, терпкий, соломенные вихры, еще младенческие как будто

ямочки, жилка голубая у рта, Аглаина лебединая песня, даже спать с ним не хочу — лишь укрывать на ночь спинку, поить бульоном, сынок скорее, чем любовник, какая-то седьмая вода из Кимр, присланная с бандеролью: встретила и никуда не отпустила, какой еще институт, зачем это надо. Этот ангел и сам не понял — не было у него умысла, не было, был лишь жар, пламя проклятых брюлек, купленных художником всея союза для жены, и вой в крови, так, наверное, мать выла на опостылевшую свою кимрскую, за 70 рублей в месяц, жизнь, вот его бес и попутал. Не ушел даже далеко, так и сидел рядом с подушкой на Аглаином лице и раскрытой шкатулкой, плакал потом, не от вины или загубленной жизни, а от того, что некому его будет укрыть на ночь в адовых казематах и что она все поняла, когда раскрыла глаза, все: он с подушкой над ней, но даже тогда, поняв, — не упрекнула взглядом, как будто заранее простила все, что он сейчас совершит.

Мальчика Коли Пылаева, ясно, у гроба не было, не было и начальника больших театров, не было той кавалькады мужчин, той вереницы их тел, того колеса огненного, что вертела Аглая, обжигая пальцы и никак не согреваясь. Не было. Забыли. Испугались. Постыдились. Были в командировке. Рот ручкой прикрыли, постонали на красные образа — и дальше в путь. Не было и Таты. Аглаю она третьим крестиком, галочкой поставила у себя в душе после девочки из эшелона и Леты: вот и ее не проводила, как же так... Просмотрела... Не приняла ее жизни — и не восприняла ее смерти.

Могилку уже припорошило последним жидким и скудным снежком, в доме успела опуститься пыль, опечатку сняли довольно быстро, и это свалившееся на Тату московское богатство (Коленьке тетка не успела подмахнуть, хотя собиралась), этот простор и закрома, углы и тишина, лишь сильнее высветляли Татино одиночество и сиротство, как вечерний луч падающего откуда-то из-за замоскворецких лесов солнца, подсвечивающий мягкое серебро крылышек моли, доедающей втихаря плюшевые прокладки на аглаином зингере, которым она никогда не трещала.

Машинку Аглая, тогда еще Сорокина, выписала от матери, из Кимр, умела шить, но не пригодилось, устроилась лучше, и вот тетка — за серой оградкой, Коленька Пылаев — за железной, а кованое кружево подстольной части зингера пахнет рельсами, уходящими в ночь.

Тата сложилась, залезла в железную нору, как в Темниковке пряталась под столом вместе с Софьей Павловной, и толстая и медленная, давно стоявшая в девстве педаль от ее веса вошла в качение. Оно напоминало сразу и баюкание младенца, и гончий, перевалочный бег вагонов за горизонт, на пике своего усилия отрешающийся — и отрешающийся — от всего. Выдох. Выдох. Утро еще не скоро, твоя станция затерялась в лесах. Спи, спи, я подоткну тебе спинку.

Кач-кач.

При шитье смертной одежды работать вперед иголкой, узлов не делать, нитку зубами не перекусывать, полотно на колено не класть, слез на ткань не ронять. Класть с собой пояс — неподпоясанным никогда не отправлять.

## *Глава 7. Соловов* Подпорожье

Вот в этом покатоном ходе, таком плавном, что движение ты ощущаешь скорее внутри, чем снаружи, они и появляются. Двигаются через время, через тебя. Выскакивают, как пружинные паяцы, грустные клоуны, трепещут на ветру. Кровать — набалдашники с облупившейся синькой, продавленный панцирь — вынесена в поле и над ней ловец снов на яблоневои ветке или поплавок в легком течении воды: лето, дача, мушки, на кадрах фотопленки всегда остающиеся размазанными хлопьями снега, слепят мерцанием и неповторимым звуком тварной короткой жизни, или еще

что-то такое подвешенное и пребывающее в мелком ритмичном движении, может быть, колокольчики... Лица. Они возникают на радужке, стыдливо, как одеждами или обложками, прикрытые усталыми веками, мигают и растворяются в этом движении... Тата не знает когда, кто и в какой момент — пока не дернут за невидимую леску. Не надо усилий воспоминания — они сами приходят к ней в свой черед, как в свой черед река несет мимо берега то осенние листья, то потерянную панаму, то труп врага...

Иногда ей кажется, что среди тех, к кому она приходила, были какие-то специально предназначенные ей люди, что из услышанных историй должен бы сложиться какой-то рисунок, как вплетенный в ковер ниточный ритм, цветочный бордюр складывается в эпохальный сюжет... Но нет, ответа не будет, смысла не было и нет, кроме одного, и вот он просто приходит на память, вернее, выныривает на ее поверхности, чтобы оттуда маякнуть — да, вот он я, здесь, целехонек (или целехонька), не первый и не последний, просто скрижал с начертанными письменами, один из тех, к кому... Или одни.

Чаще всего почему-то являются Дудины.

Тата проводила их где-то еще в 90-х, в подмосковной больничке, чьей достопримечательностью они были: жили долго и несчастливо и умерли в один день, поди такое поищи, да вон там, в угловой, на четыре койки, две пока пустуют, а эти все делают что-то, хотя уже и батюшка к ним приходил, и дети с какими-то бумагами прибежали, и сиделку им даже наняли, хотя они ее что-то не больно, а вон Тату, ну, поломойщицу нашу, привечают, да, ну ее многие ждуг, это понятно, она такая, нездешняя вся...

Дудины являлись Тате не силой хватки своей за жизнь, были и похватче, просто им, наверное, думает Тата, там беспокойно — и очень скучают они друг по другу. Тата слышит этот их каждодневный крик — поводы всегда находились, слушает, потом прикрывает уши ладонями. За окном леса становятся гуще и прохладней, хотя их верха уже трогает вставшее солнце, и Тата думает, что им просто не дает покоя этот ее поезд — они ведь тоже однажды приехали к своей судьбе по железке. Только они-то ехали на юг. Отпуск, Крым, курортная любовь.

И Тата слушается их и дает дудинской истории прозвучать, на один перегон сворачивая свою, и начинает там, где Таня, тогда еще со своей девичьей фамилией, увидела дудинскую всплывшую после полуминутного небытия из-под воды голову, из-под волны. За эти полминуты он стал родным: потерянный и обретенный. Еще полминуты назад случайный. Когда увидела его макушку, облепленную мокрыми волосами, — подумала остро: рубашки. Гладить его рубашки. Не ЗАГС, не младенцев, не тихую старость. Гладить рубашки. Скинутые только-только движением плеч в ждущую стирки кучу, — поясище, голой, прохладно — и можно уткнуться носом в запах, пока он не видит, рыщет по кухне или в душе. Упереться ногтем в твердый воротничок, что весь день давил на кадык. Пока комкаются рубашки, пока еще не названы имена и нет слов, а на дворе — самый первый день, еще до конца творения и до его начала, и только твои рубашки — явны и явлены, и можно исследовать тьму и дальше, пока она не поглотит нас. Гладить его рубашки, вдыхать их и гладить — большего Таня от судьбы не ждала.

В номере — махнул через балкон, строгие санаторные порядки, второй этаж, жгло в пятках не столько от высоты, сколько от предвкушения — Дудин всю Таню запихнул в себя, высокий, большой, только днем спасенный ее мыслью из пучины, из геенны, из вечности без нее, потом выплонул, как кит Иону, отдышался, полез за пачкой сигарет в задний карман скинутых на подступах к казенному ложу брюк... Таню случившееся не оцарапало никак, хотя косточки согрелись и пели, и тоже захотелось курить, хотя вообще — никогда, но то, что заставило ее заскулить тихонько под одеялом, когда за Дудиным, будущим мужем, хлопнула фанерная дверь в душ: парусом парившая на жарком сквозняке кремовая его рубашка, которую тянуло схватить зубами за загривок и нести, как кутенка, не отпуская. И всегда потом, даже после скандалов и сцен, чувствовала эту знобящую боль под тугим свертком кишок —

гладить рубашки, твои рубашки, полные соли и табака, промытые от них и развешенные на ветру, и снова набирающие из морского — московского — воздуха и соль и табак, и соль и табак, и всю предрешенную жизнь.

В сентябре Дудины расписались, и до самого финала Таня волчицей охраняла свое, отгоняла всех домработниц, жадно рвалась — гладить его рубашки.

Он же в жене ценил иное.

Как была верна, как была стыдлива, как никогда у нее не болела голова. И еще любил наблюдать, как в любви она уплывала за буйки, гребла где-то внутри себя, мерно и сосредоточенно, к горизонту, как будто отрабатывая урок, но смиряясь с его всенепременной наградой: как пятерочницу тяготят похвалы на собраниях звездочки, так Тане неловка была эта победа, эта сладость в конце. Дудин, плывя рядом, любил смотреть на небыстрые пролеты глазных яблок под прозрачными веками. Жену заводили его рубашки. Дудина это забавляло.

Главным было — не принести на них запаха чужих духов.

И он справлялся.

Они оба справлялись.

Даже когда кровь, казалось, пойдет горлом от взаимных упреков и обид.

Они оба справлялись. Дудин любил в Тане себя. Таня в Дудине — его рубашки.

Это прочное равновесие дало им сына, дочь, квартиру в сталинской высотке и мраморный камень, один на двоих.

Дудин на памятнике был в кремовой.

Но это никому уже не было важно.

Тата снимает ладонями с век напряжение рассказа, утро за окном непрозрачно, теплый пар от теплоцентрали, на горизонте машины испускают облака в пробке перед переездом, ломаные цветные квадратики в очереди, из пролесков — тихий туман. Ей нужно вернуться. Вернуться к своей истории, продолжить ее и завершить. Ее слушают, вот он, невидимый слушатель, ждет... И нужно собраться, лечь на курс, приноровиться к ходу вагонов, которые контрапунктом идут через всю ее жизнь, и продолжить, ибо Московская и Тверская уже позади, и Ленинградская на исходе.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Те, к кому я приходила, всегда со мной. Я не знаю зачем и не узнаю уже. Они заполняют меня — легкие, мозг, суставы — и пожалуй что да, я прожила все эти десятки жизней вместе с ними — но я так и не знаю, прожила ли ту, которая была суждена девочке из разбомбленного эшелона. Что было написано ей? Что мне? Соловов называл меня мертвой, Аглая боялась моего холода, но те, кого притягивало ко мне в их последние минуты, знали, что их не обожжет и что их собственное тепло тоже останется. Не останется тела, но останется тепло, да... Может быть, в этом и есть задумка, этот круговорот, взаимообмен, этот мой страх жить — и их страх пропасть бесследно... Вот как сейчас пропадет за взвесью дождя станция Подпорожье, пропадет вместе с бабой-ягой — горб, нос, золотой зуб, седые патлы, васнецовская кисть, с пуховыми платками, вместе с женщинами в кроссовках и непромокаемых куртках с ржавой, водяной морошкой, копчеными и тоже как будто ржавыми рыбинами, потными, в каплях, бутылками пива (все здесь промокло, изнутри, мы трогаемся, и видно, как они со своими тележками бегут хорониться под козырек автобусной остановки, над которой полощется одинокая чайка), они пропадут, как будто их никогда здесь и не было... но я-то знаю, что они здесь были и будут всегда — как морошка в северных лесах.

Тронулись. Было Подпорожье. И нету. А я?

В Аглаиной квартире Тата не осталась после той ночи на зингеровой педали. Квартира была не по росту, не по душе. Да и старик Брусиллов так быстро упал к ней

в руки, что ничего иного и не оставалось, кроме как поселить нового жильца на верх башни, а самой искать съёмный угол.

А ведь это Лета как-будто выхватила его спутанную кудель из толпы! Его безумный и напряженный — а в сердцевине такой изумленно детский — взгляд среди мелькания множества спешащих зрачков, — потом думала Тата, — это она, защитница сырых, направила меня тогда, это ее совершенно был жест — хватать не раздумывая и тащить, кормить, отпаивать, греть...

Наутро новой — послеаглаиной, послежелезной — жизни Тата спустилась с башни, и безумец был уже там, неподалеку, высиживал век на лавке, сцепив руки на щуплых коленях и едва заметным глазу движением раскачиваясь из стороны в сторону. Старик Пётр Фёдорович, больной и влюбленный, у него был позавчерашний хлеб, и он, оказалось, совсем не ел. Тата присела у его ног на корточки... Два городских сумасшедших, два странника во времени, не приписанные ни к какому порту, два нелюдима и одиночки... Взяла его за руку, потащила на верх Аглаиной башни, поселила в «своей» комнатке — и старик пришелся ей как раз впору. Куклы, сидящие в своих коробках, ему не мешали, напротив, он как будто разговаривал с их невидимой владелицей, которая в его воображении была совсем не Тата. Имя ее прозвучало позже: Тата посчитала на пальцах и поняла, что Оленька играет со своими куклами в тенистом мраке очень давно, и что когда Брусилов видел ее в последний раз — перед неслучившейся свадьбой, — ей было не сильно больше, чем Тате сейчас, и она еще и не выросла даже из этих угольных глазок, шарнирных ручек, газовых юбок, игрушечных сервизов, вся сама такая же была — зефирная, зонтик от солнца кружевной, альбом, легкое дыхание. Брусилов и тогда уже был немолод, Тата так много ни прибавить, ни вычесть не могла, но всю историю из его невнятного бормотания, обращенного к играющей с Татиными куклами Оленьке, иногда прерывающегося просветлениями (все время жаловался, что у него растёт третья рука, просил мази, или сельтерской, или экипаж, но мог и вполне здраво бухнуть: «Сама-то когда последний раз ела?» — и под ресницами сразу вдруг становился стариком, а не тем ребенком, которым был в окружении кукол и призраков), все-таки сложила. Ел только хлеб, который таскала ему изредка Тата со своих смен, из больницы (умерить бег ног сразу не могла и потому ходила по улицам, до изнеможения, узнавала еще не узнанный город и все время сворачивала в узкий переулок к старому, мощному, вросшему в землю дому, который не сколупнуть было никакому новому ветру, ибо нужен такой дом — всегда: там то богодельничали, то сходили с ума, то рожали будущих октябрят, теперь вот сделали — тубдиспансер; Тата по окрестностям заглядывала в его окна, в которых иногда проступали серые тени иссушенных силуэтов, и чувствовала, как ее призывают из тех окон, как когда-то звали ее из темниковского Сада другие. Пётр Фёдорович сушил в Аглаиной духовке сухари из этого казенного хлеба, Татиного служивого пайка (то мыла там полы, то стирала простыни, то мешала государственные щи). Ему больше и не надо было, птичка божья — и всю Оленькину историю Тата сложила по словам, по намекам и вздохам, и вопрос был не в том, что именно с ней и Пётр Фёдоровичем произошло (во вросшем в землю доме Тате много и позаковыристей рассказывали), а в том, куда ей все это теперь деть...

Пётр Фёдорович жену свою несбывшуюся ласкал в уме и нежил — как дитя (тоже не случившееся), он ведь толком ее и не узнал за время до назначенной свадьбы; была она вся кометой и всю его галактику исполосовала своим светом, истрепала этими вот перчатками до локотков и краешками туфель на изогнутом, как горбинка носа, каблучке, иногда показывавшемся из-под льняных, прохладных, в тонкую голубую полосочку платьев, и характером смешливым и не женским, а так и оставшимся — как у мягущегося подростка: ярость и бунт, пунцовые щеки, хлопанье дверей, родители только и успевали бледнеть и извиняться. Хотя против свадьбы Оленька не то чтобы что-то имела — просто не держала ее в голове, ее занимал вселенский миропорядок, но Пётр Фёдорович был друг, семьи и ее, они вместе читали, и он дышал незаметно ее затылком над книжкой, и книжка, устройство божьих дел, где одни всегда

страдали — и другие почему-то страдали тоже, волновала ее больше устройства собственной судьбы. Семнадцатый год все подкатывал, шел волнами, свадьбу по мелким, потом никем не помнимым причинам откладывали, Пётр Фёдорович худел, ушивал свадебный сюртук, а потом вообще как-то не до сюртуков стало. Ушел с белыми, с Оленькой, зашитой в карман у сердца, и поди ж ты, нет больше ни Оленьки, ни карточки ее той, у пруда, где она удит рыбу с мостков, подоткнув платье, босая, и вполборота пеняет Пётр Фёдоровичу, что он трусит мочить ноги и возвысить голос против несправедливостей мира сего — трусит тоже. Нет ничего, а сюртук его свадебный, преуготовленный, есть. Висит над Татиной кроватью. Тата иногда чистит его Аглаиной щеточкой, особенно нежно обходит то место, где была Оленькина карточка — возвысившей голос, тогда как Пётр Фёдорович, вернувшись с проигранной войны, затерялся, сошел с ума, был непригоден даже для записи во враги народа, и репрессировать его было — лишней тратой ресурсов адовой машины.

А вот Оленьку — Оленьку да. Смысл имело. На таких зазубринах машина и обкатывала свой ход.

Оля Остудинская написала в Кремль, самому, письмо некрамольное, беззлобное, но яростное, почерк старательный, гимназический, написала в порыве про Бог есть любовь, даже переписывать из-за кляксы не стала, сразу отослала, вся подобранная, рассерженная, пылающая (жила у знакомых, учила чужих детей, родителей схоронила). А вскоре и ее саму отослали. Пётр Фёдорович выл, но не искал, еще с переворота времен совершенно утерев навык жить. Она нашла его сама. И это его подкосило даже больше ее пропажи...

Оленька писала, сглатывая буквы, пытаюсь соразмерить множество слов и смыслов — и узкое горлышко дозволенного просочиться на волю через жерло лагерной цензуры, и Петр Федорович смог почти все из этих строчек разгадать (напряжением памяти о своих мытарствах на гражданской войне и вообще российской истории): воюет Оленька за послабления для монашек, ей назначен штрафной изолятор, и она любит Петра Фёдоровича (намек — будто тонкой нитью, продернутой через канву вышивки ришелье). И это любовное признание, вот в таком письме прозвучавшее, говорило, что с человеком *там* произошло что-то непоправимое, что-то сродни откровению, и признание Петра Фёдоровича перевернуло, свело с ума... Жанна Д'Арк, Данко, маленький отважный боец, девочка, вооруженная кружевным зонтиком, островецкая дева, идущая с кулачками на шинельных людей...

До этого места Тата добиралась несколько месяцев. Старик засыпал в своем бормотании на Татиной девичьей кровати под своим свадебным мундиром, она уходила, чтобы прибежать где-нибудь между сменами (жалованья хватало как раз заплатить за снятый у старухи Назёмовой угол в тихом дворике, отгороженном от ядра города лишь розовым особняком, когда-то бывшим притяжением дворянской жизни, а сейчас молча служившим по какой-то культурной надобности горланящим кумачовым людям), выложить в изножье кровати (старик далеко от кукол не уходил) свой паек, слушать, собирать слова в предложения, предложения в строки, строки вставали во весь рост, и Тата видела, как Оленька, с совершенно ясной головой, требует от истуканов — усы, приклад, циркуляр — чего-то своего, бунтовского, книжного, вечного, как дышит она на кирпичного цвета распухшие пальцы и как потерявший рассудок Брусилов плачет где-то на углу Новодевичьего, жалуется прохожим, спит на скамейке... Потом отряхивала морок, укрывала заснувшего старика и шла в коммунальную свою клеть.

Ночевать в Аглаиной квартире, даже с Петром Фёдоровичем, не могла. Аглая смотрела из углов.

В углу у Назёмовой было шумно, но Тата отгораживалась от старухи, от быта, от всей населенной квартиры так, как она умела, — невидимой занавеской, нырком в себя, стеной воды. Но всегда возвращалась, точно чувствуя время и место. Всегда вовремя.

К Петришвили — один звонок, к Званским — два, Николенко — три и так далее, хвост списка растворялся уже в каких-то пресмыкающихся числах; к ней самой — нисколько. К старухе Наземовой — семь, а к ней самой: ну, семь с половиной что ли?.. Чего стоит ее отгороженный занавеской угол, так напоминающий плацкартное купе? Разве что лишнего полунажима натертой кнопки...

Звонили к старухе. И то, как долго та возвращалась в свою клетушку (глухой коридор протянулся вдоль Тверской во чреве спрятанного во дворе Музея революции — бывшего Английского клуба — придатка, флигелька с дверьми бесконечными, растворенными, нетуго прижатými, какими-то сквозными, вечно шастающими дверьми), то, как долго она возвращалась — даже дольше, чем диктовали и возраст, и палка, и норы, — Тате сказала: вот оно. Вот оно. Вот.

Вошла не старуха.

Занавесочка Татина тронулась, брюки на Соловове оказались со стрелкой, и стрелка эта поразила Тату больше всего, больше цветов даже — так и не подаренных, ушел с ними — жутких мертвых гвоздик, больше даже, чем вся его речь:

«Ты это... Ты ничего не подумай, Тат, — Соловов почти не занимал места в ее плацкарте, но ей показалось, что из комнаты вдруг откачали весь воздух, а до станции еще долго, очень долго, и окна все равно не дадут раскупорить. — Мне на заводе семьдесят рублей положили, — он хватал воздух, как рыба, бессильно, наполняя им большие легкие — в панцире вздыбленных ребер и торчащих костистых лопаток. — Не думай, Тат! Угол получше снимем, мастер адресок дал. Я тебя пальцем не трону. Не то что! Пяточки целовать буду, ты только иди, не держи зла. — Соловов, такой же тощий, каким был в детдоме, такой же злой — но сейчас еще и несчастный, и решившийся одновременно, держал гвоздики перед собой и то ли прикрывался ими, то ли протягивал ей... Он всегда был несчастный, Тата это знала, но сейчас он почему-то этого не скрывал, перестал скрывать, как будто силы ему нужны были для иного. Чего? Тата пыталась добраться до конца его речи прежде, чем туда доберется он — и как будто что-то исправить, как будто что-то еще можно было исправить... — Ты прости, что там, ну, тогда, в Темниковке, я прям чумной стал, как тебя увидел, ты меня как за жабры взяла, я ж сразу все понял: ты на меня смотришь, а видишь дверь за моей спиной, или не знаю, что ты там видела...» — Соловов мялся, почти сипел, у него как будто резался голос, или он впервые говорил человеческой речью.

«Да я же не слышала его голоса, только хохот», — подумала Тата. Ей казалось, что лучше бы он и сейчас гоготал, только не слышать эти слова, только не эти.

«И у тебя ещё волосы такие были на голове, острые, тебя бритую привезли, и мне щекотно ладони было, когда я тебя трогал, ты ж не уворачивалась, ты тихая, но что я, дурак что ли? — Соловов глотнул воздуха и начал заново, как будто пошел на второй круг, хотя понятно было, что что-то не так, Тата — не так, никак... — Ты не думай, мастер хвалит, и денжат, говорит, потом побольше будет, ты потерпи, Тат, ты меня не бойся, вон у тебя волос какой теперь, мне потрогать хочется... — Он сделал шаг. Что-то еще вдруг изменилось в его голосе, в изломанной фигуре. Все пошло вверх — чтобы скоро оборваться. — Я тебя беречь буду. В обиду не дам. У меня ж никого. И у тебя. Только старик этот придурочный... Вызнал все! И я неприкаянный, только мне и бежать не от кого, только как от себя... — Здесь голос его совсем очистился и затвердел, Соловов перешел на звон, стоящий у Таты в ушах. Он сделал шаг, он открылся — и услышавшего оставалось теперь только приручить — или убить как свидетеля... — А я ведь тебя не забыл. По ночам на голову одеяло натяну, как в младших группах, и представляю, что ты рядом, что видишь меня, жалеешь... Так хотел, чтобы ты со мной играла или хотя бы пуговичку свою показала, как Летке... Щупал свой затылок, нас же тоже всех обкарнывали, и все гадал, у тебя такой же? Вспоминал, как ты не обернулась, когда тебя тетка уводила из Темниковки, как ты в том ее фатовом пальтишке ушла, она тебя за капюшон держала, как добычу, а я думал, улетела моя рахитичка, улетела ласточка... Спал в ту ночь в твоей постели, девки ржали, но мне все равно было... — Воспоминания мучили его, ботинки, взятые у



товарища по общажной конуре, жали и жгли. — А теперь ты как живая стоишь, только волосы отросли... Ты ж живая, Тат? Ну, посмотри на меня? Я же тоже живой! Я тебе, смотри, что принес. — Соловов засуетился, и на это ушли последние его силы, развернул плотную желтую бумагу, и оттуда выглянули два каблучка желтых же туфель, или Тате так показалось, **ее** мутило от страха, от неизбежного... — Что, нет? — голос Соловова вдруг обрушился безнадежно, и Тата поняла, что скоро, скоро они доберутся до конца. Пауза была слишком длинной, но она не могла себя заставить ничего сказать, и голос его пошел вверх, вверх по нарастающей, до визга, до финального обрыва в пропасть: — Что, нет?! Нееет... Ну что ж, все ясненько, ясненько нам! Да! Не нравится тебе? Нам не нрааавится! Куда уж! Разве ж мы такое носим! Мы ж полы по больничкам моем, да пальчики у нас бархатные! А с таким отродьем разве мы возимся?! Только это я, я живой, а ты — мертвая! Стоишь, смотришь, а сама мертвая! Как Летка твоя Городецкая! Да я б ее еще раз туда пихнул, под Пряшку, если б мог, мертвая, мертвая, дура, рахитичка-аааааа!!!»

Он швырнул туфли в Тату — старуха Назёмова потом толкнула их на рынке — они глухо грохнули об пол. Бантики, почему-то подумала Тата. Бантики. Бантиков она никогда не носила. Где же он их взял? Заработал? Украл? Сам выбирал или помогали? Голодал из-за них? И то, что это Соловов, оказывается, толкнул Лету под копыта Пряхи, а не она сама оступилась, не поразило так, как то, что он ее, Тату, любил.

А я не поняла ничего... Любил, ревновал. Мучил, убил...

Дура. Бесчувственная. Мертвая, — думала про себя Тата. Даже Соловов лучше меня, даже он. Живой. Даже Соловов мог любить. Так сильно, что даже убил Лету мою — чтоб мы больше не могли по ночам наводить между кроватями висячий мост сцепленных рук...

И еще Тата подумала, что он обязательно вернется. Знала это. Не знала только, когда.

Брюки со стрелочкой. Тата засыпала за занавеской и пыталась забыть. Старухин храп не мешал. Брюки со стрелочкой. Стрелочкой. Стрелочкой.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Если сейчас пытаться разобраться, выстраивать по порядку, искать связи всего со всем, то я понимаю, что Пётр Фёдорович Брусилов, полжизни которого прошло в затмении, и показал мне, зачем я... И хотя суть происходящего мне открылась позднее, это полнейшее неведение промысла не помешало мне тогда, когда я прибегала к старику между дежурств, досшивала в лоскутное одеяло его историю и чувствовала, что вместе с ней закончится и его время, как будто мы встретились только для того, чтобы он передал мне по наследству свою любовь и историю Оленьки, это неведение не помешало мне все сделать так, как надо. Это сложно объяснить... Это, возможно, работа театрального режиссера — и художника декораций, и драматурга, и даже рабочего сцены: оживлять... А может, музейного хранителя... Или — писателя? Писателя, да... Но я не умею писать. И читать едва научилась только, когда попала *уже* на свой остров...

Но я всегда умела слушать.

И сейчас меня греет, что то, что осталось от старика Брусилова, сейчас движется вместе со мной, по моей надобности, туда, где, наверное, и обрела вечный покой его Оленька. Нет, не восточка и не последний поклон. Но — шов, иголка и нитка, которые их соединят.

Я — этот шов.

Больные, укушенные бешеными животными, и душевнобольные перевозятся в отдельных изолированных купе при сопровождающих их лицах с оплатой полной стоимости предоставляемых мест в купе, независимо от числа едущих.

## Глава 8. Осока

### Свирь

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Почти все встречи с теми, к кому я приходила, были, чтобы сказать сразу общо, обставлены декорациями то больниц, то приютов, ночлежек, вытрезвителей — самых разномастных коммунальных человеческих пристанищ, в которых я работала половойкой или на кухне, стирала белье, или изредка меня брали в няньки, сиделки, не более, я всегда стелилась ближе к земле, там, где уху хорошо слышно. Это все такие места, где подобные встречи предрешены, но что удивительно: когда те, к кому я приходила, теперь берут голос, напоминают о себе тонким стуком изнутри, как будто не рожденная еще пяточка тихонько отталкивается в своем плавании от стенки носящей ее матки (да, это точный образ, я полна жизнью, но не будущей, а прожитой), я вижу этих уходящих людей не в те сумеречные, предрассветные часы, когда их истории переходили в меня, оставляя от них одну оболочку, которая к вечеру будет тверда и оплакана, нет. Я вижу их в те пиковые мгновения, которые случаются в самой захудалой, стоячей судьбе, в те вспышки озарения, близости к богу, какой он ни есть, которые подсвечивают — аврора бореалис — и проявляют ход дней, я вижу их в явлении провидения, в сути их, в глубине... Вот как Толика я помню — помню в любви его, сияющей над горбиком саксофона.

Мальчика Тата выбрала сама. Никто ее не звал. И он, мальчик с виолончелью, был самым *долгим*.

Тата всего-то в два раза была его старше. Шестнадцать и восемь.

У старухи Наземовой, во флигельке за Тверской, говорили, что Тата нелюдимка, что разговаривает с сумасшедшим стариком, который живет в башне, а других только слушает, что дружит с мальчишкой...

Конец, Толику предстоявший, был явлен пока только напряжением как будто атлетических, набухших икроножных мышц, кричащих — мнимо — о здоровье: симптом первый и настораживающий, но Клавдию ничто не настораживало до последнего, когда слабость растеклась уже по всему телу сына, дотолкалась до периферических сухожилий. С трудом сгибать слабую руку в локте, заноса ее над грифом, а потом, промахиваясь, устанавливать пальчики на струнах, не понимая, от чего так выходит; Толик чах у Таты на глазах — болезнь прогрессировала очень быстро. Пах он макушкой своей геркулесовой, волосы слежались за ночь, Тата запускала ладонь и медленно вела расправленными пальцами, от шеи вверх; он терся головой о ее ладонь, как трут рожки о бок матери лосята. Поняла про него все чутьем, поняла, однажды утром соберя воедино картину: и спину его старческую, переломленную этим бархатным виолончельным горбиком, ему не по росту, и ступни слабые, выглядывающие из коротких школьных штанишек, и лоб этот, будто прижизненно обрамленный нимбом. Клавдия с Толиком были ее соседи, жили в дальней по коридору комнате, накладка их на коммунальный унитаз была цвета цикорного напитка с молоком, Клавдия такой устраивала себе каждое утро, занимая своими бедрами всю и так тесную кухню, пока мальчик в темноте коридора навьючивал одежды, ранец, виолончель... Тата слышала перестук его слабых ножек вниз, в подъезд, в котором остро пахло озоном, снегом, черным утром, видела, не подходя к окну, как он волочет на себе весь этот скарб, и даже перелицованное пальто ему тяжело, и как восседает поверх всего добра мать, самая тяжелая его ноша. Влюбленный и в юбки ее, и в цикорный напиток, безответный, ненужный, больной ребенок...

Клавдию интересовали мужчины. Толик — нет, Толик лишь занимал место в углу ее койки (спать один отказываясь, хотя второй класс), причинял некоторый расход и так шаткому Клавдиному бюджету, ну и да, любовь эта, собачья, раздражала, попадалась на каждом углу, ее хотелось пнуть туфелькой с помпоном, надетой из

расчета на пришлых или хотя бы коммунальных мужчин. Отпихнуть, как кутенка. За музыкальные неурядицы и зря потраченные (с прицелом на единственного мужчину — преподавателя по классу виолончели, доставшейся Толику от умершего соседа) три рубля на музыкальную школу Клавдия сына была тонким ремешком от платья, которое некуда было носить; он даже не скулил. Принимал благодарно, как объятия. Ремешок не оставлял следов, в комнате было тихо, об этом даже Тата не знала, но знала главное — и что надо каши сварить до того, как убежать в больницу, Клавдия наверняка забудет, и спросить про уроки, и сходить вместе в дом в глухих переулках окраинного района. Дом был их с Толиком тайной.

Этаж оставался один, хотя подразумевалось два, вместо второго было небо и редкие разошедшиеся балки. Никто не помнил хозяев, и Тата с мальчиком любили угадывать, что здесь было до них. Платье кукольное, обгоревшее — самой куклы не было; голубой ковер с грустными оленями, подъеденный по углам то ли водой, то ли огнем, то ли временем; нотная тетрадь. Дом, казалось, когда-то добротный, порядочный, видимо, семейный. А может, конура старьевщика... Тата с Толиком пробирались через расщелину окна внутрь, виолончель втаскивали за собой, обдирая ей кожу, окидывали взглядом знакомые предметы, ждали появления новых. Сидели так, наконец в тишине, до конца урока, который виолончелист счастлив был провести без глухого к музыке Толика. В тишине, под светящимся небом, инструмент лежал у мальчика в ногах, в эти минуты он не испытывал к нему ненависти и не вспоминал о своей ревности к музыкантам, соседям, всем прочим мужчинам, любим, кто не он. Играть Толик не любил, но бока у виолончели были так же круты, как у матери, и не отстранялись, эта лакированная загогулина в его судьбе была даже терпима, когда не нужно было извлекать из нее звуков. Ладони мальчика забирала себе Тата — вместе с его ношей неразделенной любви. Это были единственные часы из оставшихся, когда ему было легко.

Болельница быстро пошла тяжело, Клавдия похудела вместе с сыном, под конец трудно было дышать. «Сухотка, чертова сухотка», — бормотала на похоронах мать проступавшими через помаду черными губами. Чуть в яму не упала, осень, слякоть, она в туфельках, наутро снова пила цикорный напиток. Виолончель сдала в комиссионку, и Тата долго еще думала о том, что Толик мог бы весь уместиться в этом футляре, весь, вместе со своей любовью. Она представляла себе его фигурку, спокойно спящую внутри, ладони под щекой, и сама засыпала без борьбы, чтобы утром бежать на смену, а вечером — к старику в поднебесье Аглаиной квартиры.

Замуж Клавдия вышла к концу того года. На кухне, где запахи еды стояли, казалось, толщей, колеблемым морем, и не выветривались даже при открытой форточке, стало еще тесней. Муж пел по вечерам в их дальней комнате. Нет, не артист, но любитель. Тата в такие вечера выходила на лестницу. Втягивала запах лип или снега, словно спрессованный в куб аромат, запертый в подъезде, прислушивалась к гулу центральной улицы — шины, говор, шарканье — и представляла, какой тоненький должен был оказаться голосок у Толикина инструмента... Она ведь так и не услышала его виолончель.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Да, было и по-иному... Кто-то выговаривал свое, больное дома: кабинет, тяжелые шторы прикрыты, но вечерний сентябрьский луч режет старый паркетный пол пополам, в нем тихо и неостановимо, как в песочных часах, оседает бархатная пыль, голос, одетый в велюровую пижаму, рассказывает что-то лучу, и я знаю, что под окном дачи рвется в сгущающуюся небо высокий куст фиолетовых сентябрин... Кто-то звал меня, приводил за руку, просил поговорить с родным и безутешным. Кого-то я вычисляла сама, видела эту ненасытность, эту жажду и страх, слышала этот долгий, никогда не рассказанный текст, и сама шла навстречу. И никто никогда не спросил меня про меня. Это понятно, я этого и не ждала. И я нерасплесканной донесла свою историю до этого часа. Но теперь я говорю.

Соловов пришел, когда Толика уже не было.

И старухи не было в тот ранний вечер в их комнатке, должно быть, злилась на скамеечке у подъезда. И вообще квартира была странно притихшей, фонари на улице то зажигались, то гасли, будто никак не решаясь понять, пора или нет, сдало ли солнце вахту или можно еще сэкономить, а может, просто ослаблялся контакт... Улица стихла, чтобы вдохнуть, напряжиться — и разлиться спешащим вечерним многоголосьем. На кухне уплотнялся запах вечерней еды, Тата спала, вернувшись от Петра Фёдоровича после смены, поджав к животу колени, как спала всегда, зародышем.

Паркетина на пороге по-чаячьи вскрикнула. Предупредила. Тата села на кровати, с ногами, еще не проснувшись, но все поняв. Запах шел впереди него, перебивая и жареный с морковкой лук, и селедку, и сбежавшее у многолетних армян молоко. Так пахло на вокзалах, под скамейками, иногда в скитаниях по железным дорогам, когда ей дышали в затылок преследователи, иногда — пропащие люди, иногда — добрые. Проспиртованные, как узкий пузырек духов. Соловов, груженный, как баржа, но твердо шедший к цели — и то ли набравшийся для придания себе решимости идти до конца, то ли, уже набравшись, созревший к поступку, — на Тату не посмотрел. Прикрыл дверь, оперся о железки кровати для верности рывка, распрямил одним движением домик ее коленей... Тата набрала воздуха, чтобы хватило на дольше, и нырнула глубоко.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Вот это мне всегда было дорого. То, как обводит горизонт темная речка, — под мостом видны мелкие кувшинки — как тонут невысокие, безлиственные березы в болотах, подступая к самому полотну, и даже одноликие униформенные строения железнодорожных станций, полные командированных, приезжих, пришлых, отбывающих, — меня это греет, греют все эти законные текущие картины; но еще больше сейчас — те безбилетницы, что успели все-таки немножко проехать в туалете вслед за своими мальчиками, в Петербурге, говорят, какой-то чемпионат, и еще говорят, что через суфле на переходной площадке по-прежнему можно проникнуть беспрепятственно в поезд... Это все хорошо. Это мне дорого. Люди не сделали мне ничего плохого. Даже Соловов. Что он по сравнению с тем, что сделала я.

Соловов отлип. Как в кулак себя собрал — втянулся из нее весь обратно, нанизался на хлипкий позвоночник. Все эти несколько минут так и просмотрела молча в его сжатое, без единого мускульного движения плачущее и перемещающееся над ней лицо. Только когда выпустил из сцепки рук, прикрыла веки, услышала, как восходит молния (быстрый стрекот смыкаемых зубьев), отпустила ненужную мысль: «Штаны-то со стрелочкой» — и подтянула колени обратно к животу.

Больно не было, пахло ряской. Сперва на мгновение, а потом все отчетливее в комнате стал прорисовываться берег речки Осоки, в которой они плескались в Темниковке, Тата нырля с головой, теряя под водой себя — и обретая, выныривая обновленной, а Соловов ждал ее на берегу с прутиком и визгом — плавать совсем не умел, воды боялся.

Тата вынырнула на миг. Он не мог этого видеть, уходил худющей своей, рыдающей спиной, но жест бы его ужаснул: не тем, что он Таты был — тем, что нянечки: взмах ее, ночной няни, на сон грядущим, бредущим в негаснущем коридорном свете темниковцам... Осенила.

Вода в комнате прибывала.

Кап. Кап. Капкапкап. Шшшшшшшш. Плюх. Квартира наполнялась звуками, возрождалась к вечерней опере. Текло из незакрытого крана на кухне через стенку, сочно шмякались ледяные капли об оббитую общажную раковину, в которую чистили картошку, умывали сопли, смывали детские горшки, шумно плескалось что-то в ванне, наверное, армянская семья из дальней комнаты замачивала детей, симфония воды затапливала уши, и Тата не разлепляла глаз — слушала, плыла...

С берега к воде было — скатиться, Тата так и ушла в нее, покатым бревнышком, не разгибаясь, вода обняла нежно, как в детстве. Ладонки чешутся от холода, уходят плечи, нос... Река смыкается над головой.

Вода всегда заставляла Тату чувствовать себя живой. Можно задержать дыхание и почти умереть, а потом вынырнуть, увидеть дивно задуманный мир, двоящийся от капель на ресницах, размноженный, как на фасетках стрекозы, и на миг подняться на цыпочки и даже выше.

Если подняться на цыпочки — и даже выше, с ангелова крыла видно, как вода горит.

Чернобог — он же Хладолет, Ежибабель, Мужичок с ноготок, Триглав, Зюзя, Мороз, Колодий.

С брюхом ходить — смерть на вороту носить.

## *Глава 9. Башня Кедрозеро*

К старику Брусилу за последними пазлами истории, чувствуя, как он уходит от нее, Тата приходила уже отяжелевшей. Рост ее скрыл изменения в талии, на службе никто ничего не заметил — она и так все время была переломленной пополам, лицом в пол — а старик, догадавшись, только взгляд свой на ней стал останавливать дольше и чаще спрашивать, ела ли она и что. «Тебе надо, надо, поешь».

В последнем Оленькином письме Брусилу говорилось о блуждающих маячных огнях, венчавших купол храма, не видимых ни с какой точки острова, плоским блюдом лежащего на холодном море, но хорошо просматривающихся с акватории — так что ни одно судно не заблудится и пришвартует своих жертв, буде они живы в его утробе... Что еще писала Оленька, Брусилу зажевывал, переходил на французский, на что-то намекал, будто бы по цензурным соображениям, и Тата сложила это все в себя — рядом с девочкой, расширяющей стенки матки — чтобы вспомнить спустя много лет.

К родам старика уже не было.

Просто перестал есть даже те крохи, которые приносила ему Тата. Откладывал их все для Оленьки. Прятал. Копил. Тела своего не помнил — и мук своих тоже.

Оленька не писала, но он догадывался, что ей там, на острове, голодно.

Карлика звали Арам.

У часовой башни Киевского вокзала Тата появлялась теперь по базарным дням, только бисеринки пота, схватывающие лоб по границе волос (отросших за беременность, но все равно еще открывавших шею), говорили о том, как тяжел груз. Ни стыда, ни страха — живот вызывал у нее недоумение. Даже не житейское, взрослое беспокойство: как рожать, как растить? А юный, трепетный вопрос: как же оно там, откуда и что внутри — сродни удивлению болоньевым плащам или космическим ракетам — впрочем, это будет много позже. Карлик Арам бросал взгляд на небольшой, низкий (по чему коммунальными старухами было решено, а обсевшими лавочку у подъезда высоты подтверждено, что младенец женского пола), как раз на уровне его глаз, Татин живот: взгляд не выражал ничего — по отношению к животу; и шел заваривать кипяток.

Они молча кивали друг другу, два избранных, два иных.

Тата встречала иногда таких, и всегда они друг друга узнавали: по горькой спине, по настороженности, заложенной между лопаток. Встречала раньше — и первая, конечно, была Лета, хотя у Леты между лопаток был пух — и встретит ещё... Истории были у каждого, характеры — тоже, но вот этот сквознячок, тянувший как будто из-под незаделанной щели под дверью в другое измерение бытия... Он был не у всех. Многие из иных пытались законопатить эту щель, боролись, уставали... и потом все равно, поняв бесплодность попыток, несли на хребте этот дар и груз... У Арама вот даже горб от тяжести вырос.

Принц наследный, никак не годный к бабичьему делу, часовник из башни, в конце войны, в день бегства Таты от тетки случайно приветивший ее на вокзале, — сразу признавший свою, чужую, — роды принимал он.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Карлик Арам. Карлик Арам... Вот здесь подступает сразу же к горлу. Потому что и история моя здесь начинает восходить к своей высокой ноте, и суживаться, и хрипеть... Все самое главное случилось со мной в мои восемнадцать — а дальше почти ничего и не происходило (мытарства казенные последующие не в счёт) — после того как я родила девочку в последний день лета 1951-го года в часовой башне вокзала.

Выбеленный — серебро по тёмной бронзе, патиновый лик — и скрюченный, он был даже, пожалуй, не стар, сейчас я думаю, Араму было за сорок, но для меня тогда и в силу нашей разницы в возрасте, и из-за его внешности он был почти таким же стариком, как Брусиллов, просто последний проходил по какому-то совсем мафусаилову ряду... Арам по средам, спустившись с башни, посещал женщин, по субботам делал визит на стихийный крестьянский развал за заставой, а больше... а больше ничего. В этом он был похож на меня. Жил в каморке, сколоченной из досок в устье раскручивающейся кверху спирали лестницы, и там же (последние недели я приносила на базарчик что-то из Аглаиных шкатулок, меняла у баб на яблоки, помидоры, козий сыр, потом отдыхала в темноте деревянного араминоного шалаша, он приносил травяного чая и мёда и ни о чем не спрашивал), там же улитка в моем животе начала в один из таких дней расправляться, стараясь выпрямиться, стать струной внатяг, тетивой... И это тоже меня не испугало, нет, и не причинило боли — но как же это меня удивило...

Я не могу идти дальше, не воскресив толком Арама.

Армянский княжич, любимый немолодой матерью до испарины, до сбоя сердечных ритмов у отца, свирепого на поле брани и в присутственных местах, а дома, в детской комнате, сидевшего не дыша, одним целым сердцем, глядящим из распахнутого мундира. Сынок упал со средней яблонево́й ветви: розовый цвет, до яблок ещё все лето, нянька спит в ее тени, маясь мигренью, мухи, открытый рот, а мать так глубоко в своей книжке, что не заметит, как мальчик полз... Упал, и уже через несколько месяцев (ходит, может ходить!) стало заметно, как в сторону пошла расти ветвь позвоночника. Потом расти перестала и вовсе.

Лекари. Знахари. Аметистовый перстень с пальца княгини. Снадобья. Свечи. Псалтырь. Сорокоусты по всем горным монастырям. Черные бабки. Отец переехал в отдельную спальню. Иногда, впрочем, по ночам, рассчитывая, что жена спит, стоял над ее изголовьем, пересчитывая складки у рта, все ли на месте. Разумеется, не спала. Смотрела на двух бледных экранчиках закрытых глаз неостановимую, цветную, выпуклую ленту: штанишки чертят кругленький зад, сын лезет обезьянкой вверх, осыпая кору, карабкается быстро, три, четыре, может, секунды, а потом пропускает сучок, тапер дает звук трескающегося дерева, падает спиной назад, и всю картину заволакивает густо-розовым дымком (нет, кровотечения не было вовсе) осыпавшихся яблоневых лепестков. Другой план в этой сцене — зрительный зал. Он в воображении матери так же явен и неотступен: свеженькая, едва разрезанная книга, новые стихи петербургских поэтов, доставили вечерней почтой, и она сама, престарелая счастливица, безмятежная, потерявшая от счастья страх, в яблоневом цвету... Нескольких секунд не хватило.

После несчастья княгиня отправила всю фамильную библиотеку — увезите долой — и стала ждать. Сроку дала себе год. Через год спина Арама кривилась дугой. Тогда мать выпила все оставшиеся от тщетной лечобы склянки, верной и точной рукой (уже без единого камня) отправив себе в рот сердечные капли, чудесные настои и мелкодозированные обезболивающие яды. Отец и сын уехали на воды. Вернуться уже не смогли. Родину, там, за горами, заволокло темно-розовым туманом, белое смешалось

с красным... Отец умер от своего большого сердца, получив отказ в хорошем (на стойке отеля) месте в Париже. Арама спустя несколько лет — родственно-казенных волн — вынесло в Кишинёве, потом снова прибило к родному берегу, но там повсюду, в каждой встречной безумной кавказской старухе выглядывала мать, и, вынырнув в последний раз в Москве, пугающийся сам своего отражения и голодный, он пристроился заводить часы Киевского вокзала и третий десяток лет их заводил. Это была его башня из слоновой кости, бойница и дозорная вышка, из которой он смотрел на город, медленно осыпающуюся яблоню, женщину в темном где-то в прицеле калейдоскопа: тяжелые перстни, тяжелый взгляд, запах парижских духов в ямочке шеи мамочки и острые битые склянки — задела, падая, рукою... Розовые лепестки и острые осколки складывались в узор, бесконечную перспективу, и это и была в сущности точная метафора его души: облако любви и незаживающие раны, и эта карусель крутилась в его голове вместе с плавным ходом заводимых им шестеренок башенных часов.

Были еще одни часы. Карманные. Отца.

Когда Тата тихонечко в углу заскулила, они побежали быстрее, заскреблись, застучались под подкладкой, как будто хотели карлика растормошить. Скорей, Арам, скорей. Ставь кипяток. И рубахи, где чистые рубахи? Тазы? Что же ты трусишь, горец и принц? Вон девочка-то какая цельнокройная и литая, как корпус от часов, она, пожалуй, и толики так не напугана, как ты. Этот день оправдает все годы твоей истуканской службы у подножия времени, Арам, и, может быть, наконец-то сломается эта чертова карусель.

Мамаааааааааааа!

Ребенок появился с ударом длинной стрелки, слившейся с малой.

Головы на площади на миг задрались к тонкому разорванному облаку над башней. И снова слились в серое море, застрочили точками, запятыми, направленными линиями. Соловов где-то посреди своих грохочущих станков мелким движением повел тощими лопатками, собирая их вместе, и снова вернулся к работе внутри огромного стучащего механизма, сам его винт, промазал по пальцу, сломал деталь. Тук, тук. Стрелки высоко наверху пошли на новый круг. Тик-так. Время как будто подстраивало оптику, делало зум-зум. Речка Осока прошла волной, разливалась. Вот центральная сцена: усталая, с широкими зрачками, Тата аккуратно, как телок, берет варенье с краешка ложки (Арам варил сам, кислую антоновку брал у каких-то рязанских мужиков), смотрит на открячавшую девочку удивленно, с наклоном головы, как когда-то глядела на картинку с маяком, оживая... Как это может быть?! Как? Это мое? Все мое, собственное? Тата медленно окунает мизинец в банку и несет его ко рту. На мокрой, притихшей девочке у груди остается пунктирный след густых капель. Одну, янтарную, Тата какает ей в ротик.

...Когда детей в каморке у лестницы стало двое — Тата и девочка, спящие годами за подкладкой часы царского генерала были выужены из прорехи и завернуты в тряпку (старую карликову рубашку, шитую на заказ, Тате она была бы смехотворно мала, а маленькой оказалась как раз простынкой), утянуты свивальником крепко прямо у девочки под попкой. Бери, пригодится. Вам теперь обоим много чего пригодится.

Сглаженные годами за подкладкой округлые бока генеральских часов, прижатые старой рубашкой, чуть давили на кожу внутри свертка. Маленькая натертость будет держаться еще долго, иногда щипать. Даже пройти не успеет.

— Ле-та. — Скажет Тата куда-то перед собой, облизывая с пальцев сладкие капли.

— Лад-на, лад-на, — эхом откликнется, согласится карлик. — Будешь хорошая... — слово потонет во вскрике, карлик скулит: пролил кипяток, обжегся, и то ли закончил предложение, то ли выругался.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Мы возвращались домой, в Аглаину квартиру, куда я перебралась в последние недели беременности, отдав старика Брусилова, тело его, тем, кто пришел за ним, а

себе оставив его свадебный сюртук (и несколько оброненных слов про маяк), в квартиру, где я грустно грызла сухари — в них превращались булки, на которые хватало Аглаино наследство (еще масло, заварка), — вытирая пыль с зингера и глядя на город, пробуждающийся, спешащий, отходящий ко сну. Свет внизу не гас никогда, и смотреть это кино можно было бы бесконечно. Я догрызала летние сушеные яблоки, макала их в крепкий чай и пропускала наплывавшие мысли о том, что вот-вот произойдет со мной и моим телом, как воздух пропускает луч, как пропускает его вода... Я не готовилась к предстоящему. Плохо ела, поднимала тяжести, спала на спине. И когда все случилось в свое время, как-то счастливо в физическом смысле разрешившись и ничем почти меня не задев, я, конечно, вынырнула из своего кокона — так, по горлышко, только чтобы хватило поворота головы. Оглядетесь, съезжайте варенья, поспать до вечера, потом до утра и обеда, увязать девочку в узел — редкое личное имущество, как пуговичка или записка — и толкнуть Арамову дверь плечом. Тяжелая, дубовая и столетняя, она подалась с трудом, мы протискивались в нее с кульком, карлик стоял, задрав голову к башенным часам и придерживал дверь. На площади круговые течения тут же подхватили нас, понесли, выплеснули где-то за пределами вокзальной сутолоки... Я не знала тогда, что в этот день в Арамовой каморке спала в последний раз — и что следующий свой сон, не бред, увижу в кабинете с качающейся лампой, высоко подвешенной за тонкий проводок.

Они возвращались домой вечером первого сентябрьского дня, когда море астр уже отвалило свои волны, но в воздухе еще звучал этот колокол, дающий гудок к началу труда, отсекающий усталость отдыха от будущих побед, летний зной от внезапной прохлады осеннего вечера. Трамвай был почти пустым, из пассажиров была только Тата с прижатым к подбородку кульком и застрявшее между сиденьями солнце. Паучьи ноги электрических рогов отбрасывали по сторонам свои тени. Где-то в кульке тикали нагретые новорожденным теплом часы. Старый трамвай, облезлая краска, шел долго, казалось, без остановок, звенел тихо, как будто стараясь не потревожить девочку, задевая иногда ветви кленов, зеленое золото, шел куда-то своим путем, пассажирки качались, подсакивали иногда вместе с содроганиями вагона, плыли в одном ковчеге... Высотка наконец явилась из-за поворота, девочка пукнула, нужно было сбросить с себя отупение тряски, ее размеренность и отрешенность, и — выйти из трамвая. Хотя бы выйти из трамвая. И начать жить.

То, чего Тата боялась больше всего. То, чего не умела. Она так ловко бегала от своей собственной жизни, так долго боялась смерти меньше, чем бытия, что сейчас ей стало непривычно горячо там, под выпирающими ключицами, что-то давило у ребер, гнало, тянуло, тревожило... Девочка закопошилась в кульке, выпятила попку, точно легшую в ладонь, толкнулась макушкой к Татиному подбородку — как делала это в животе, только теперь так неудобно было ловить эти движения, собирать в охапку, держать в узде. Подъезд, старухи, от этой картины разбитые тут же параличом, долгий — гулкий и прохладный — подъем, гладкие ступени и ступни, Аглаино пыльное, вековое, темное трюмо в коридоре — и отражение (высокое, закачаешься) в нем. У нее, оказывается, зеленый кошачий глаз, и у девочки в свертке такой же, чуть криво подстриженные волосы, острые локти, топорщащиеся в стороны и пытающиеся совладать с грузом, и мокрое по переду широкое платье. Тата чему-то улыбнулась внутри, как тогда, когда Лета принесла страничку из «Маяков Российской Империи», и в зеркале тоже приподнялся уголок рта. Под расстегнутыми пуговицами, оказалось, было молоко. Желтые, масляные капли. Девочка нашла его сама, как находят соски слепые кутята, подтолкнула Тату, направила, потянула носиком в ту сторону, бесшумно сглотнула, а на втором глотке снова спала. Тата отняла ее, высвободив вытянутый, закушенный сосок, подоткнула дочь Аглаиными махровыми полотенцами, скатила бочоночек в продавленную ложбинку в диване, подумала и придвинула еще стул.

Вернулась к зеркалу, совсем спустила плечики, не включая света, в сумраке вечера, разбавленном блуждающими огнями города, рассмотрела все удивительное



устройство принадлежащего ей тела, видимое впервые: выпирающие тирешками ключицы, узкие, подростковые, гладкую теплую ямку в основании длинной шеи, литые, звенящие колокольца (некрупные, как яблоки сорта грушовка), полные желтого меда. В мелькнувшем холодном свете (не фары, не фонари — высоко, не луна — облачно, но свет был, был, Тата видела этот отблеск, видела явственно) на миг проявилась и застыла на молочной груди густая капля.

В следующий раз соседи — любопытные со скамейки не добрались, не посмели, но та, с уже прямоходящими близнецами, которой Аглая подкидывала носки из шерсти и консервы из дальневосточных рыб, робко позвонила в круглый матовый звонок — увидели Тату в заполненный идущей из квартиры мглой неясный проем приоткрытой двери.

Хлеб и кефир она приняла молча. Откуда-то из глубины шло усталое хныканье.

Запираемая изнутри дверь стукнула чуть-чуть сильнее, чем можно было бы ожидать от прежней Таты.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— С Летой я вочеловечилась — наверное, это верное слово, и наверное, его пора произнести. Но как трудно мне это давалось — и как дорого в итоге далось. Я шла к себе ощупью, боясь воплотиться — в теле своем, материнстве, шла, как по тонкому льду, нащупывая, как глухонемые нащупывают буквы во рту, как ищут белой тростью лежащую перед ногами землю слепые, как дислексики воскрешают на бумаге образы ускользающих букв... Я и сейчас чувствую, что кружу вокруг главного, ухожу в дальний угол, где не так много лиц и звуков, и где есть время, хотя бы небольшая отсрочка... Я возьму эту паузу и расскажу еще про себя, что не успела, — чтобы взять разбег перед главным.

Шмыгать по узкому ходу за ее спиной давно перестали, перебор колес тоже утих, утомившись, как утихают ближе к концу уходящие в знаемый, жданный час налегке, храп из второго купе свистит, как из носика закипающего чайника, и в этой обволакивающей Тату тишине, которая не минус звук, но звук растворенный и незамечаемый, давний, монотонный и неизбежный, постоянный и похожий в каждую секунду сам на себя, без вариаций, старуха у окна настораживается, даже в плотности дорожного воздуха (и вот опять, опять сколько сравнений, которых не избежать: и как сифонило в щели, и как пахли немытые женские тела, и как медно, будто в ангеловы трубы, били о железо запоров сапоги конвоя) выслушивая свое: жадный, обессиленный плач, сводящий с ума. Неотменимый, как перестук под брюхом вагона. Тревожащий, как протяжный тифон. Лишающий сна.

— Я сама никогда не замечала, что со мной что-то не так — я имею в виду область прикладную, житейскую, свою врожденную словесную слепоту. В Темниковке мы больше боролись за хлеб, чем грызли гранит, а после я и не ходила толком в школу, и моя неспособность читать, она всегда была на периферии моего внутреннего зрения, как, впрочем, там же были и буквы. Они всегда оказывались по краям, по полям страниц, разбегались, и чтобы поставить их в ровный строй, всегда нужно было совершить зрительное, волевое усилие — дававшее в итоге лишь слитный, безззорный ряд пленных пехотинцев, которые все как один принесли присягу хранить молчание. Стоило мне чуть ослабить хватку, поменять угол атаки — обычно приструнить значки удавалось, если подходить к ним сбоку, зависать над страницей справа или слева, заговаривать их, упрашивать стоять смиренно, — как они снова рассыпались, будто несчастья из ящика Пандоры, и силы собрать их обратно появлялись у меня снова очень нескоро. Я шурилась, легонько двигала по часовой и против наши нарезанные из газет прописи и библиотечные книжки, разглаживала страницы, мусолила карандаш, дула на буквы, как будто надеясь, что эти пляшущие человечки с тонкими стволами надстрочных ружьиц и нижних петель послушаются, прекратят свое столоверчение —

но нет... Мои прописки походили скорее на иллюстрацию, чем на письмо, и единственным человеком, которого поражали мои отношения с текстом, с каждым его элементом — буквами, строчками, абзацами, даже пустыми полями, которые никогда для меня не были белыми, а всегда по ним скакал какой-нибудь вольноотпущенный или беглый запятой заяц, — была Лета Городецкая. Лета, научившая меня узнавать в лицо буквы и так и не дождавшаяся, чтобы я смогла освоить науку расшифровывать письма. Все это оставалось для меня тайной, и даже вырванная из «Маяков Российской Империи» мятая страничка, даже эта страничка никогда мною при жизни Леты не была прочитана.

Я прочитала ее уже на Ягнячем острове на озере Малом. Сама. Когда никого из Лет со мной не было.

За мою Лету мне дали десятку, как давали за анекдот или за колоски.

И мне показалось: как мало.

А буде кто, стреляючи из пищали, или из лука по зверю, или по птице, или по примете, и стрела или пулька всплывет, и убьет кого за горою, или за городьбою, или кто каким нибудь обычаем кого убьет до смерти деревом, или камнем, или чем нибудь не нарочным же делом, а недружбы и никакия вражды напередь того у того, кто убьет, с тем кого убьет, не бывало, и сыщется про то допряма, что такое убийство учинилось ненарочно, без умышления, и за такое убийство никого смертию не казнити, и в тюрьму не сажати потому, что такое дело учинится грешным делом без умышления.

## Глава 10. Окиян Медвежья гора

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Мы были совсем одни. Машина соглашения даже не успела раскататься — как нас и след простыл...

Не знаю, как могло так случиться, что плотный невод тех времен, эти общежитные сети, пропустил нас, двух обреченных друг на друга рыбешек, какими жили мы — до поры: незамеченными всеми инстанциями с корежащими слух аббревиатурами, забытые многочисленными интересантками со скамеечек, даже карлик Арам не пришел нас проводить... И мы действительно прошли в игольное ушко: никто нас не трогал. Не интересовался, не требовал справок, клятв на красном, не напутствовал в счастливое будущее и не привлекал к ответственности, не гнал. Не думаю, что это упущенье системы, нет, она никого не упускала, мне видится здесь морок сродни тому, какой напал на преследующих меня иногда в моем беглячестве по станциям и полустанкам, ослепление наподобие того, что постигало всех инспектирующих вагоны кондукторов, гипноз, которым я могла остановить в ее порыве даже безудержную Аглаю... Не потому что была бесплотна, но потому что и не была, видимо, вовсе.

Все, что посылалось нам извне, — хлеб и кефир под дверь; и это было почти как пять тысяч рыб на горе Елеонской, так как хватало этого приношения очень надолго — до следующего хлеба и кефира, и я знала, что это не дух святой (тогда скорее — Аглаин) посылает нам пропитание, а сердобольная мать близнецов из угловой. Как-то она меня разглядела, чары рассеялись на ней. Это она потом будет стоять у верхней ступеньки лестницы, когда я выйду из квартиры, отходя дальше от шума утекающих вод за моей спиной, надвигающегося, как сходящий сель, к обрыву лестницы. Одна.

Эта женщина закричит. А я так и не узнаю ее имени.

Это она приведет людей.

Полнота, какой раздувает бока весенним рекам, какой поднимается в тепле дрожжевой хлеб, какой распирает в налитой доверху, всклянь, жестяной кружке

жирное молоко... Так Тата была полна, до краев. Когда Лета — нечаянная радость — засыпала и позволяла положить себя на Аглаин диван (и теткин дух с опущенной перьями «лодочкой», болтающейся на пальцах левой ноги, как будто обиженно подвигался к подлокотнику, смещался, уступал место, признавая право за живой девочкой на это мягкое ложе), Тата ложилась рядом на пол. Она не исчезала в неприходящем сне, хотя не спала очень давно. И хотя ребенок и был на расстоянии руки, вот же ведь — плотные валики хороших Аглаиных полотенец подоткнуты под спинку, стульями приперт мягкий обрыв, — Тата наново начинала представлять себе дочь. Прижата спинкой к материнскому животу, так что точки пяток как раз упираются в Татины подогнутые колени, затертый затылочек ложится в ямку между ключицами и подбородком... и ребенок — как скрипка в этом мыслимом Татином объятии, страдивари, доставшийся беспризорнице, драгоценная тяжесть, которую Тата ощущала затекшими, под щекой сложенными руками, наконец свободная от нее — и без нее беспокойная. Сил заснуть не было, и Тата успокаивалась, засосав глубоко за щеку большой палец, ощупывала в воображении сначала дочерину стопу, никогда не знавшую веса собственного тела, с прорезанными, будто стеклой, — из Татиной белой плоти иссеченными — пальчиками. Шла выше, к коленям, на которых, если Лета засыпала на животе, — так меньше гудели кишки — при пробуждении круглели розовые вмятинки. Вот еще слабый, недельный, цыплячий зад прижимается к Татиному пупку на измятом животе, цепочка бисерных Летиных позвонков помещается между молочных сосков, и чашей пахнет, берлогой, детеныш это звериный, пахучий, мой, никому, никому, зубами за холку, вылизать испарину ото сна иссохшим языком, перевернуть, мизинец пропустить в уголок губ, помочь ухватить кровящий сосок и дышать, дышать, тихо, в такт, кач-кач. Крылышко мое, пушочек, морковина сладкая, Лета. Тата слышала море внутри, море слов, не знаемых раньше или знаемых, но доселе плотно соединенных с обыденным миром вокруг — звери, предметы, овощи — и вдруг прораставших смыслом иным. Это море плескалось где-то у мозжечка, и Тату качало волною, или это была пьяная усталость нескольких дней без сна, звенящая, резкая, как зимний свет в полдень, свет на краю — света... Бусинка моя, яблонька, вспоминала Тата свой нищий сокровенный быт, пуговичка.

И только лицо, маленький старушечий лик, Летино лицо от Таты всегда ускользало, и она никак не могла его восстановить в своем бдении, как будто к вечеру дня творения кончалась глина, как будто истончались самые последние слова, и уже не хватало даже дыхания, чтобы вылепить самое дорогое.

Тогда Тата поднималась на полу на колени, упиралась ладонями в Аглаин диван и тихо-тихо дышала над дочерью.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Я называю это провожанием. Нет, не прощанием и не прощением — ничего такого я не делаю: провожанием. Тот, к кому я пришла, уходя за черту все дальше, цепляется за меня взглядом как за маяк, и ему становится виднее происходившее по эту — для него уже по ту — сторону. Виднее фарватер судьбы. Резче тени. Вернее акценты. И дело тут вовсе не во мне. Не в слухе дело, но в речи. В том, откуда они начинают. Сами, вдруг сразу нащупывая точку. Начинают не с начала и не с конца, не с заслуг и не с потерь, но всегда с того самого места, где, ритмично выпирая под кожей, толкаясь изнутри через сетку капилляров, бьется неотпульсировавшая пуповина самого дорогого — или самого страшного, что по сути оказывается одним и тем же, и я знаю, что, когда придет время резать, резать будут вот по этому, самому живому. Может быть, и даже самому незаметному, даже порой забытому, может быть — единственному краткому мигу. Но бывшему и искупившему собой все. Как будто бы рисунок судьбы, перед тем как раствориться получивший зрителя, слушателя, вдруг обретает всю резкость, всю композиционную ясность, которых был лишен в долгом забеге и утомлении пути. Я вижу это как ткацкий станок с запутанной работой — и вот те же самые руки, которые все запутали, разматывая клубки, вдруг уток подтягивают

к долевым, и складывается картина. Те, к кому я прихожу, знают все про себя сами, но я чувствую, что мое присутствие помогает им это осознать, принять — и отпустить, уйти налегке... Все подробности каждой истории остаются во мне, просто облепляя первобытное зерно, драгоценное семечко слуха, и я знаю, что после того как мы простимся в их освобожденных от груза руках останется одно. Гран надежды.

...Воздуха... Открыть бы окно. Впрочем... Я не знаю механизма свершающегося, не знаю, на что во мне откликаются уходящие и почему для них так развидняется прожитое... Я могла бы сказать, что проливаю свет, что я сама свет и есть — но нет, я не свет, я лишь лампа. Не текст, но обложка для книги. Я та скважина в скале между камней, в которую шепчут тревоги и тайны, а затем залепляют травой, замазывают подножной глиной, земля уходит в землю, а это — нет, не уходит, но освобождает и остается. Кажется, я так боялась глотнуть собственной судьбы, узнать предназначенное только мне, так привыкла считать себя ничьей девочкой, укравшей имя и живущей чужое (как будто от этого мое остается в целостности и невредимости, словно положенное в камеру хранения на вокзале), я так устала видеть наяву, как вынимаю записку из руки той Таты, устала ждать, что что-то снова случится, что не жить свое, зажмуриться было единственным выходом, а подлинная — и каждому неотменимо сужденная — смерть была для меня всего лишь концом всех тревог... Я не боялась ее — и она не хотела меня. Мы были на равных. И вставая за спинами тех, к кому я приходила, она давала мне силу жизни, а я возвращала тем, кого провожала, простор, чтобы подняться над сценой и увидеть всю картину с высоты.

И я забирала у них еще кое-что.

Старуха не плачет. Не умеет — так, как умеет проводница из второй смены, в слезах отъезжающая от станции Свирь. Кто-то задевает снова Тату, легко и случайно, она придвигается еще ближе к окну. Не кусает губ, не давит ребрами всхлипов, не краснеет жилками глаз — так, как умеют в четвергом купе, в третьем. Как будто нарушено сообщение сосудов: внутри больно, снаружи — не видно. Нарушение, какое-то нарушение проводимости соков, как если бы крона цвела, отрезанная от корней, или наоборот, корневая подземная сеть вила бы свои узловатые гнезда без лиственной шапки... Сеть морщин на Татином лице можно рассматривать, как рассматриваешь генеалогическое древо, где поименовано все человечество, ее морщины — единственные следы невыплаканного. Время оставляет на ней узоры.

Тата помнила расписание, и пока раскачивалась в своем рассказе, шла к его высоким точкам, успевала сопоставлять мысленный график движения с названиями станций, куда так скоро прибывал поезд, но сейчас, сейчас она немного забылась, отстала от внутреннего табло, поезд едет сам по себе, а она течет в своем рассказе — сама, и что там за Свирью — зеленый лубочный теремок станции Медвежья Гора? Или мы идем уже вдоль Белого моря? Тата течет по своей истории, не держась ни за гладкие перильца под окном, ни за слушателя, если он есть, ни за хронологию событий, позволяя картинам вспыхивать на подкорке проявленным изнутри обжигающим светом. Да если и говорить, как есть, то дальнейшее, случившееся в Аглаиной ванной, действительно никому, ни нам, ни старухе, не известно доподлинно — правды никто никогда не узнал.

И вся история так и осталась — всплесками, брызгами, преломляющимися в свете раскачивающейся лампы в каком-то высоком и темном помещении, ржаво-зеленой, под потолком. Мерцаниями на водной глади.

Тата двигает губами, разбирает неразборчивые письмена за окном. Она потерялась в пути, как будто отстала от поезда, хотя продолжает стоять на серо-белой, в полоску, хлопковой дорожке на дребезжащем полу, но.... дойдет в своей истории до конца. Потому что это путь до конца, она знает.

И глупо, по-детски, сама себя на этом поймав, пытается отложить первую развязку, обойти самое главное, можно, я сначала гулять, а уроки потом? Дайте кипятку, пожалуйста, и подстаканник...

Вот по еще одной воспринятой душе сейчас звоночек, локомотив вписывается в поворот, та просится к горлу — и Тата легко пропускает ее вперед, дает место чужой истории, шепчет себе под нос. Потом — еще одну, потом — еще... Как будто можно отсрочить время. Как будто поезд можно развернуть вспять.

На восточной стороне есть Окиян-море, на том Окиян-море лежит колода дубовая, да на той колоде дубовой сидит Страх-Рах. Я тому Страху-Раху покорюсь и помолюсь. Создай мне, Страх-Рах, семьдесят семь ветров, семьдесят семь вихоров, ветер полуденный, ветер полуночный, ветер суходушный, которые леса сушили, крошили темные леса, зеленые травы, быстрые реки, и так бы сушилась, крушилась обо мне чадо божье (имя речется: Лета). Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди!

## *Глава 11. Бессонница* Сегежа

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— С девочкой своей — поднимала шумящую голову с затекшей руки, внутри кольца которой она спала, — я поняла наконец, что было с ними со всеми. С Летой Городецкой, с Солововым (выгнанный мастером с завода за пьянство, он спустился под землю, в метростроевцы, и был раздавлен желто-зеленой гусеницей вагона типа «А» в кишках строящейся станции Октябрьская), с Аглаей, с карликом Арамом, Оленькой, Петром Фёдоровичем... Вот что с ними происходило: широко, щедро, скупое, зло, жадно, самовлюбленно, на разрыв и бережливо, раз за разом — или в последний раз, все по-разному — они любили. А я — нет. И потому они жили. А я — нет.

И потому они умерли.

А я — нет.

Эти две вещи стали очевидны мне одновременно. Что любовь и есть жизнь. И что это — не для меня. Не потяну такое... Я не боялась смерти, небытия, была к ним готова, как всегда готов к проверке рекрутированный солдат, отбывающий срок арестант. Но жизнь, требующая от тебя всех соков, сосудов, включенья, — это было мне непосильно.

А Лета звала меня — к жизни.

С пахнувшим мною младенцем, испускающим звуковой сигнал на какой-то дельфиновой частоте, в меня стало входить это живое, животное, человеческое, незнакомое раньше — страх. Страх один во мне теперь только и был. Потерять Лету... И ничто не объясняло его. Он исходил у меня из пор кожи, пах изо рта, тек потом, расширял зрачки до заполошной, отечной черной дыры... Когда она плакала — и когда спала. Когда она дышала. И потом, когда не. Уронить этот груз. Разбить вдребезги, в щепки — и никогда не собрать. Этот кулечек в Аглаиных полотенцах, расшевеливший во мне росток любви, заставлял меня чувствовать себя живой — но это было слишком, я же знала, что случается с теми, кто живет: они теряют самое дорогое.

Лета пришла ко мне и принесла с собой прозрачные лоскутики кожи на бисерных мизинцах и все остальное уменьшительно-ласкательное, которое обдало меня восторгом и ужасом с головы до ног, сложила к моим ногам эти дары и велела: иди сюда. Будь. Становись. Воплощайся. Покорми меня, наконец.

А я не смогла. Испугалась.

...Я так отвлеклась. На Дудиных, на Ясну, на мальчика с виолончелью. Мошу впереди себя рельсы и шпалы чужих историй, чтобы подальше уйти от своей, даю круглые пути...

Но я сейчас расскажу.

Расскажу.

Поезд бежит теперь в ареале воды, все ближе к Бело-Синему морю, как будто сеть свою рыбацкую, соленую, накинувшему на окрестные земли; на станциях, стерегущих безлюдье по пути на север, можно втянуть носом запах — и сразу учуять: едем к морю. Даже когда запах этот ничего общего не имеет с морем, ни с синим, ни с белым, ни с живым, ни с мертвым...

Где-то пахло тухлыми яйцами — вдали чадил сероводородный завод. Где-то облако железного запаха плотно, неуступчиво стояло над прижавшимся к дороге поселком: пристанционный человек испускал недостаточно жизни, сгустка теплого духа, чтобы перебить кровяной, который исходил от напитанной железом воды в алюминиевой, тонко брякающей посудине или от вылупившегося глаза мутного уличного фонаря. Откуда-то вдруг тянуло водорослями — возможно, всего лишь из соседнего купе: открывали банку консервированных ламинарий. Иногда пахло межсезонным дождем, пролившейся водой. Часто вкус воздуха в открытой форточке не имел вообще ничего общего с той холодной морской глубиной, к которой стремились вагоны. Но Тата знала. Знала. Вода всегда делала ее живой. И она улавливала это в растекшейся за окном поезда черноте, иногда процарапываемой хвостатыми огнями пролетающих полустанков.

Сейчас расскажу. Сейчас. Расскажу. Сейчас.

— Бессонница поселилась с нами третьей. Шла четвертая неделя нашей жизни в Аглаиной башне. Я пила соседский кефир и грызла впрок насушенные Пётр Фёдорычем сухари, Лета — тянула синее молоко из меня, бессонница тоже питалась мною. Я не заметила этого момента, оборота событий, когда тягостная, неодолимая необходимость хотя бы на полминуты закрыть глаза, забыться, не качать, не тревожиться, не стоять у обрыва диванчика, на котором поселилась моя девочка, когда эта усталость стала полной своей противоположностью — невозможностью перестать быть, бдить, отключить тревожный тифон. В минуты тишины, когда Лета так же беспокойно, зеркала меня, перенимая мои не привычки, нет, мои инстинкты, возилась, мусолила кулачок, искала носиком грудь, потом по-врослому, как в радиопостановке, тяжело вздыхала, кемарила и, казалось, мне можно было наконец отдалиться этой животной тяжести кратковременного материнского забытья, сна не приходило — и я слышала, как меня начинал поедать червь.

Длинный, как многосоставный товарняк, он набрасывался на мой мозг. Этот закольцованный состав тревоги, не приписанный ни к одному порту, не имевший перед собой никакой цели, громыхал во мне, скрежетал видениями, повторяющимися ритмично, словно по неумолимому расписанию двигаясь внутри моей головы, а Летин плач, уже в яви не длящийся, все еще стоял у меня в ушах, создавая шумовую завесу, звуковое оформление всего, что происходило со мной в том сентябре... Маленькая, такая маленькая. За нее страшно. Себя — страшно. А что, если пропадет молоко? А кефир? А если с ней что-то случится? А я — я тогда опять все забуду? Или в этот раз нет? Маленькая... Мамочки... Мамочка, как мне страшно... Все истончалось, все вокруг — воздух, город за окнами, мои запястья, прозрачными становились отражения в зеркале, невесомыми предметы, и только моя ноша все тяжелела, и одновременно с этой прозрачностью я начала замечать, как предметы, обстановка Аглаиной квартиры, меж которых был проложен мой тоже замкнутый на себе маршрут с девочкой на руках, — зингер, эмалированный чайник, нетронутая конфорка, теткин любимый диван с придвинутыми стульями, темное зеркало в коридоре — все эти предметы стали отгораживаться от меня. Открещиваться, отрекаться, как от чумной, как будто стараясь не дышать одним воздухом... Сервант, куклы в коробках, шифоньер, дверное полотно, глазок на этой двери, все они стали замыкаться, больше не быть частью незаметного и целого, а становиться отдельными непознаваемыми вещами в себе, будто заворачиваясь обратно в магазинную обертку, выставляя между собой и мной плотную, зримую, физически ощутимую, мутную пелену, водную взвесь, которую можно было, казалось, потрогать рукой... Ты чужая, пришелица, это другое

измерение, ты не здесь. Меня пугали эти превращения, но я боялась не старой мебели, я боялась себя.

И город внизу, его крыши, тоже стал уходить от меня как будто в слюдяное окошко.

Молоко было, оно как-то исхитрилось протечь по руслам, иссосанным тревогой. Лета пила меня, и тревога пила меня, и усталость искала, где еще откусить. К октябрю я не спала много дней.

Смерть входила с этой тревогой, знакомым путем.

И я сама, я, которой у себя никогда не было, стала исчезать, истончаться, а по Аглаиной квартире теперь передвигалась бессонная и больная девочка-мать, нарезая Аглаино жилье на паркетные абстракции: коридор, кусок кухни и спальня — с ребенком на руках, которого тоже поглощала слюдяная тьма.

Лета была живой, живее меня, и поэтому умела приспосабливаться, выживать, как умеют звереныши. Она заражалась моей тревогой, сопротивлялась ей и кричала все громче, чтобы спастись, чтобы разбудить меня — ей казалось, наверное, что я сплю, и это был, безусловно, род сна, хотя судили меня потом без скидок на всю эту целлулоидную пленку, в которую обернулось вокруг меня все, — да я и сама никогда себя этим помрачением не оправдывала. Это я была виновата, и только я, ничто больше, и при чем здесь бессонница, температура, аффект.

Я училась жить уже потом, тоже, как зверь — только осиротевший после своего малыша... Лета по памяти учила меня быть живой.

Латунные кружки набалдашников, прохладная, покрытая испариной медь, тугой водопад из широкого крана, гладкая светлая плитка Аглаиной ванной держались особняком в этом заговоре вещей, отступивших за передний край сознания. Яркий, отраженный от белесых стен свет лампочки под потолком как будто делал предметы ближе, и они не спешили спрятаться в свои оболочки, оцарапать отдельностью, непринадлежностью Татиному миру... Но это высвобождение тоже длилось недолго, первые минуты. Лету Тата купала не в афродитовой, кипенной ванне тетки, та была слишком велика, а в маленьком корытце, где Аглая замачивала белье. Девочка смотрела на все это священнодействие с махрой и обмылками, не мигая, не выражая протеста и удовольствия, но Тата от звука разбивающейся об оцинковку струи, плеска воды в ванночке, выхлестывающего через бока отлива действительно как будто наводилась на резкость, потом расслаблялась, успокаивалась, это была ее передышка, ее приближение к себе, как будто на мгновение все становилось в порядке. Потом махровый распаренный кулечек утаскивался на диван, город внизу горел мутной ночью и одиночеством, Лета сопела в некрепком сне, Тата — грызла свой кулачок, чувствуя, как горит голова, как она тяжела, словно пшеничный колос в августовском поле, и безнадежна... Мамочка, миленькая, что же мне делать, она такая маленькая.

— Молитва моя была направлена тому же адресату, что и раньше. На поле возле разбомбленного эшелона, у окна в Темниковке, под качающимся надо мной Солововым, в башне у Арама... И пелена, что с каждым днем заволакивала сильнее все вокруг меня, единственным нетронутым оставляла этот голос внутри, пробивающийся сквозь водную завесь, мутную пелену моей родильной горячки. После Леты я никогда больше не творила эту молитву. Мне не о чем было больше просить. Но я помню ее и сейчас. Помню так, как читала ее в тот вечер начала октября: на улице темнеет, зябко, но где-то вдаль над городом, там, где он перетекает в лес, а тот — в следующий город, а за ними — уже край земли — там еще лежала нежная, как тюль, синяя полоска, отрез светлеющего неба, невидимый тому, кто не смотрит пристально, да, она еще оставалась там, когда мы переступили порог ванной, пустили воду и я по-прежнему молилась, как делала это безостановочно в последние дни, про себя, вот этими словами: «Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть...»

Нет, конечно, нет. Не эту.

Я говорила так:

Тата Тутина — это я.

Тата Тутина — это я, мамочка.

И я здесь. Есть.

И дальше было все, как было каждый вечер всего сентября и начала октября. Мы вступали в белокаменное царство Аглаиной ванной, устраивались в своем корытце, я на коленях на полу, локоть — откуда во мне было это движение? — первобытным жестом опускала в изжелта-прозрачную воду, проверяла, чтобы не горячо, и если Лета плакала, то в появляющейся испарине, засеивающей воздух, она быстро успокаивалась, а я не могла даже шептать, и как ей, наверное, страшно было в этом моем молчании, не разбиваемом и полноводным ударом струи о дно цинковой ванночки. Я купала ее на руках, положив лысенючую, со сбившимся на затылке пухом головку себе на раскрытую ладонь, придерживая правой снизу, с ребрышек, скоро перетекающих в мякоть, а там можно было поймать и беспокойные пятки... От тепла воды я нагревалась снаружи сильнее, чем и так горела внутри, лихорадка эта, не убив меня, сама разрешится потом, даже никакого пенициллина и не понадобится, а тогда мы купались, и Лета лежала у меня на ладонях, я качала ее почти потерявшим осмысленную первооснову движением, кач-кач, движением, ставшим автоматическим, как машинально берет старик от изножья кровати клюку, собираясь в недолгий путь до клозета. И этот такт, вдруг образывавшийся в пространстве бесконечно длящегося затакта, и вода, в которую можно было нырнуть и выйти новорожденной из пены, укачивали меня саму: тревога разжимала свою хватку, я качала, Лета плыла в моих руках и все длилось и не кончалось, и шум водопада меня, одуревшую от бессонницы, отуплял, обволакивал, баюкал и тоже вел свой ритм, капельный контрапункт, и я плыла по этой воде, ныряя к самому дну речки Осоки, слыша тугой звук высокой холодной струи в раковине на коммунальной кухне старухи Наземовой, а по волнам впереди меня текла библейская корзинка с младенцем, спущенная на воду в камышах и спрятанная от соглядатаев, готовых нас разлучить, и я все спасалась бегством, уходя водою от жизни. Кач-кач, а-а-а-а. Кап-кап. Плыви.

Это я избавила Лету от неизбежных расставаний, потерь и всего, что еще могла причинить ей жизнь. Отпустила от себя. Сдалась первой. Вручила водам.

Тата Тутина — это была я, мамочка.

Это сделала я.

Просто разжала объятье.

Вода всегда заставляла Тату чувствовать себя живой.

Как тогда, на берегу Осоки: вязко сквозит вода через пальцы, липнет и обволакивает, сжимает мысли, это морок какой-то, наваждение, и избавиться можно только — рванув, но на это нет сил, и нечем дышать, и все останавливается, останавливается, чтобы прорваться где-то в артерии, и снова идет по кругу, как начинается с начала счет. Раз. Мамочка, я больше не могу. Два. Солнце сквозь воду больше не светит...

Красный перчаточный ободок на руках. Расширенный зрачок в зеркале над головой — если провести запястьем по запотевшему стеклу. Дрожь усталости, толкавшая часто сердце так, что на обвитых нежно-голубыми венами сосках видно, как эта пульсирующая сеть бьется изнутри сворачивающейся кровью, льющей под кожей через край, как вода, начавшая переливаться из оцинкованной ванночки и пока еще впитываемая махровыми полотенцами на полу, но уже стремящаяся к щели под дверью, чтобы найти себе путь прочь, прочь из ванной, из коридора, прочь — к людям, на лестничную клетку, всех растолкать, пока Тата спит, обхватив себя за колени, и ныряет в своем сне на дно темниковской реки, где Соловов ждет ее на берегу, и в воде можно заснуть, устав и наплакавшись, заснуть, мамочка, разморенной от тепла и тишины, уронив руки во все еще теплую ванночку, где не было больше Леты, и они теперь были обе свободны от страха.



Все наконец-то потеряно. И можно и дальше не жить.

— От любви умирают. Все умирают от любви.  
Но мне предстояло воскреснуть.  
И стать Святой.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск прибудет на нужную Тате станцию — желтые окна неспящего зала ожидания, лужи в продырявленном асфальте, круглосуточные киоски, дошираки, таксисты, море, лежащее в темноте за городом, за полосой старых дач — прохладной ночью то ли конца осени, то ли начала весны в начале десятых годов, когда Тате — почти 80.

И обратного билета у нее нет.

А буде такое убийство учинится от кого без умышления, потому что лошадь от чего испужався, и узду изорвав рознесет, и удержати ее будет не мощно, и того в убийство не ставити, и наказание за такое дело никому не чинити, для того, что такое дело учинится без хитрости.

## *Глава 12. Святая* Надвоицы

Дар размещался у Таты под краем реберной дуги. Так она ощущала его. Разворотом хвоста рыбы-Ионы, шекотным его взмахом, когда в нее проникала еще одна судьба... Дар забрезжил еще со стариком, когда его история только начала проворачиваться у Таты внутри, устраиваться поудобнее, отвоевывая себе место у кишок и смерти, а позже стал Татой всей, утробой ее, пустой и гулкой, с гуляющим в ней эхом, перекликивающимся чужими голосами — как бывает, в высоком соборе нота с хоров идет вверх, под купол, задевая по дороге и таща с собой на небо еще много звуков, не предназначенных торжественной мессе — всхлипов, шмыганий, соплей, куда за свечку передать... Так в Тате мешалось маленькое с большим, высокое с низким, чужое со своим.

Тени от уличных фонарей в ночных окнах, догоняющие старые трамваи, — вид от изголовья детской кровати, сквозь прутья.

Отдающий острым морозом лай собак — вдали, перелаивая хруст снега под чьими-то сапогами.

Бочонки порыжелого боярышника, пережившие зиму, снегирами краснеющие на снегу и весной сдающиеся под напором зеленых стеблей.

Старуха, трясется, один глаз залеплен, пластырь крест-накрест очков, но при этом берет и лосины, прямая спина, толкает по парку кремовую, обтекаемую капсулу колыбельки с правнучкой, дает всем понять, что делает молодым одолжение.

Иногда Тате кажется, что доверенные ей картины делят на крошечные пазлы весь большой и неведомый мир, покрывают его по кусочкам обрывками рисунка, и все, что перетекает в нее, только для того и рассказывается, чтобы восстановить в деталях панораму человеческого пути и сделать так, чтобы она, Тата, тоже захотела в это сыграть. А иногда ей кажется, что все намного проще и выглядит только тем, чем является — до того, как начнешь накладывать поверху свой трафарет. Просто тем, что случается с тобой лишь однажды. И какая, господи, горечь это заканчивать. Какая горечь не узнать, будет ли дождь или вёдро в тот день на неделе, когда тебя не будет. Какая горечь тогда, жизнь назад, не остановить ее, единственную, обреченную тебе, хотя что было проще: цепанул за край плаща, развернул резко, так что ребра выдавили насильный выдох и «ох», зажал своим подбородком ее макушку и держишь, и не отпускаешь, и в этот последний четверг она сидит здесь с тобой, и плащ ее с улицы мокрый висит в уголке палаты, она шепчет что-то про то, какой ливень был в

семьдесят втором, когда вы познакомились, склоняясь к самому твоему лицу... Но ты ее тогда не остановил и теперь пересказываешь тот неслучившийся день вот этой чужой высокой старухе.

Как горько. И потрясающе. Безвозвратно.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Иногда мне казалось, что дар мой был дан мне для забвения, вернее, его попытки, дан как милость, которую мне пытались оказать через тех, к кому я приходила, ибо остающиеся мне истории других людей прижигали, как зеленкой, ранку от моей... но лишь на краткий миг. Это не было забвением, нет. Станным образом рана моя не врачевалась, а наоборот, горела сильнее, как, добравшись до дома из зубоврачебного кресла, обнаруживаешь, что ломит все тело, хотя, когда рвали, было терпимо: это отходит наркоз. С каждым приближением к чужой смерти — и к чужой жизни — у меня отходила заморозка, я просыпалась, как мертвец, оживляемый в сказке, вочеловечивалась... и думала, что это Лета присылает мне эти импульсы, добывает то, что не успела, добывает из меня тепло, шевелит...

Наш взаимобмен с теми, к кому я приходила, шел по руслу — расступались воды — где от меня текло безразличие к смерти, а ко мне — бесстрашие жития. И сейчас мне кажется, что хранящееся во мне и есть я, ибо что от меня останется, если не это? Разве же был во мне иной смысл? Разве был какой-то смысл — сам по себе — в эшелоне, в Детской Горе, в Аглаиной ванне, в этапной теплушке, где нарекли Святою, был ли смысл в острове Ягнячьем и пожравшем его пожаре, в веке моем, проведенном у чужих постелей, и вот в этом поезде, идущем туда, откуда все, возможно, и началось? Разве был? Или не был?

Я выговариваюсь ветру из форточки (открыта ль она?), ибо ко мне никто не придет, чтобы воспринять мою историю (как повитухи принимают новорожденных), я расстаюсь со своим легко, и одно меня мучит: кому останутся все они? После меня. Те, к кому я приходила.

Этот вопрос для меня по-прежнему не отвечен.

За себя же я не боюсь. Мне осталось рассказать не так много. И немного еще прояснить для себя.

Если в тройке по эвакуации детей на Зеленцовой улице, дом 16, Серёжа передал записку не для меня, и писала ее не моя мама — а это было именно так, — то... откуда же взялась все-таки я?

Кто же я, господи?

Человек, который задавал вопросы — позднее Тата запомнила слово: товарищ следователь — пах так же, как те мундирные люди на полустанках, что в беглячьей юности хватала ее за шкуру лохматых рубах — и выпускали изумленно и обессиленно. Но никаких указаний на то, что они где-то вблизи железной дороги, не было, были они по-прежнему в городе, хотя Тата ловила этот знакомый кровавой привкус феррума, слизывала с губ — видимо, залетал из последующих месяцев, предвестником, тренировочной схваткой — и человек этот, который задавал вопросы, товарищ следователь, уж отпускать ее точно не собирался.

Тата была невиданным зверьком, такие тут редко. Сама ребенок, ребенка убила, и вот третий день в забытии, в полусне, анабиозе. Не ест, не пьет, не стенает, даже не просится в сортир. Окуклившаяся гусеница. Или разбуженная мумия. Прерванные потоги, как будто застрявшая в переходе между мирами...

Мысли были непосильны для человека, и он мучился от того, что они пытались прорвать мозговую его оболочку и сойти на язык, требовали себе слов и определений, он мотнул головой, и Тата как раз в этот момент и очнулась совсем: откуда-то от слепой желтой лампочки под потолком (сквозняк едва ее касался, длинный шнур терся и скрипел, казалось, что они где-то на станции, дальней и не числящейся в расписаниях) она вдруг увидела стопки неразличимых бумаг, железный шкаф, красную

печать, мотающий своей лысеющей головой мундир... Ощупывая каждым вздыбленным волоском на коже пространство случившегося, Тата открыла рот, чтобы спросить, — и звук вышел пищащим, как будто собаке придавили лапу и давят дальше...

— Очухалась — и славно. Наталья Сергеевна.

— А где Лета? — Голос Татин срезался, хрипнул, на последнем слоге устремился наверх, к лампочке, или, скорее, к куполу и заполнил собой всю комнату, став хорами.

— Дочка твоя где, хочешь спросить? Как-как, говоришь, ее звали? — От слов человека в углу еще сильнее понесло станционным, сквозным, Тате показалось, что в комнату сейчас врежется этот воющий за окном скорый, нескончаемый, сколько же там вагонов, господи прости?

— Мне покормить, — подняла руку к горлу. Обхватила шею.

— Ну вот, в документах все указано: справка о захоронении в деле за номером... — Сухой перебор числительных, лампочка качнулась над головами, залапав пустоту по темным углам... Тата вдруг поняла, что в груди давно не жгло и не жало, не кололо молоко.

— Мне покормить... — Подумала, может, ее просто не понимают, она неясно объясняет, не привыкла говорить сама, только слушать. И стала старательно говорить: манка есть? Если жидко развести, то маленьким можно — заспешила, словами запечатывая разрастающуюся тревогу, — нам у грудничков так делали...

Лампа еще раз отъехала в сторону и в углу осветила источник представляющего точки между фразами звука — машину с зубами в несколько рядов и женщину, которая сдвигала ей зубы изредка в бок. Казалось, манка могла быть у нее, но та в своей темени в паузы пыталась разглядеть заусенец.

Тате никто не ответил.

В этой тишине она сложилась пополам, спрятала голову в колени и тихонько двинулась — из стороны в сторону, маятником. Человек поймал взглядом стрелку часов: дело пошло.

Где-то далеко просигналили.

Теперь Тата — уши зажаты коленями — явно слышала поезд. В голове у нее вдруг все сложилось, гудок привел в упорядоченное движение броуновский хаос в ее голове, и Тата поняла, где она.

Поезд шел за ней.

Грузили как скот.

Вагоны и были предназначены для скота.

И пар, шедший из множества промерзших ртов, окутывал перрон, как, казалось, коровник на рассвете летней ночи, в котором дышат теплые матки — мухи только, обступавшие плотно, были из снега. Вокруг баб наверхено столько — тряпье, мешковина, все с чужого плеча, сплошные прорехи, — что толком и не разобрать ни возраста, ни срока. Тата села на корточки у отваливаемой крашеной красно-кирпичной краской деревянной створы, а затем в вагон вошла, как в воды ныряя. И ничто не трогало: ни рязанские, мордовские лица, увязанные в платки, ни расхристанные лики продажных женщин, ждущих, где снова можно будет продать, ни тающий на последних слогах и аукающийся сам с собой голос из станционных громкоговорителей, на каждом перегоне будто бы один и тот же, по которому — единственному — можно было угадать направление, в котором стучал состав, ни печечка эта, солеею выступающая посреди всего столпотворенья.

К печке Тата не жалась: общежитное тепло нагрело голову, усыпило, качало — поезд тронулся рывком и пошел тяжело, никуда не спеша и иногда будто замирая между станциями, как пропущенный удар сердца, словно исчезая на эти секунды с радаров и полотна дорог — качало от слабости. Скорый суд и следствие отупляли, давали инъекцию забытья в гомеопатической дозировке, но — только иногда, и сейчас, когда к тоске Тата стала принаравливаться, когда боль жала, как разношенные ботинки меньшего размера, уже привычно, когда, усаживаясь у движущейся двери, она

и тоска занимали рядом место, сейчас Тата, разморенная натопленным дыханием женщин вагонным воздухом (творожный запах согревающих подмышек, плавящееся уголье, озонированный мороз) и перетоком — рельсы-рельсы-шпалы-шпалы — под ногами, наконец обмякла, затуманилась, закемарилась, уложив лоб на руки, сложенные на острых коленях, глядящих в отгороженное деревянной, покатою, как у гроба, крышей небо над Подмосковьем, постепенно оставляемое позади.

Поезд шел к Мелкозерью, а на нижних нарах, набитых широкими полатами, словно перевернутыми в горизонт стойлами, кто-то мычал в родовых муках.

Паровоз наметил себе путеводной звездой маленький серпик на черном небе и одинокий, не отвлекаемый дневными циркулярами путь и тянул, тянул состав через густеющие леса и развалившиеся полустанки, и бабы все отвозились, поделили пол и стены, и место у печи, и портили воздух, молились на сон грядущий, материли конвой, кто-то умолял воды, кто-то — смерти, и сдерживаемое — стиснутыми зубами — мычание у противоположной Тате стены сначала мешалось с храпом, горячечным стоном, безумным проговором любимых имен во сне, стуками поклонов старообрядной старухи, которая все клала их поближе к печке, вызывая, наверное, для надежности самого Перуна, мешалось с треском вокруг огня — лопались угли, — гоном ветра в щелястые поры, покрывалось низким тоном тифона, сигналившего луне... А потом прорвалось.

Лопнуло единственным взвоям, и отныне никакой иной звук не проникал извне в медленно перекатывающийся — позвонок за позвонком, шпала за шпалой, холм за холмом — вагон, допотопным страшным жрищемдвигающийся к мелким озерам, и не исходил вовне. Никого не впускать, никого не выпускать. Воды, воды! Натаяло по стенам, размерзлось: собрать наледь в жестянку, выловленную под нарами, скипятить на краю огненного зева. Нижнее, то есть верхнее, с груди, что почище, белье у гулящих собрать (на рязанских и вовсе уже не было никакого белья), и всем теснее, теснее, и в ком когда-то все рвалось и латалось, тот и пособить может, словом или делом, тот же, кто еще не рожал, — причаститься ужаса тайн, а так вообще чем не развлечение в дороге, и ночи бессонной не жалко, только что ей за это будет — и нам?.. Скинутыми тряпками обложили роженицу, сводом тел укрыли от сквозняка, от мычащей были только светлеющие в выплесках огня ноги и между ногами — первозданная тьма, а остальное было укрыто тряпками и ночью.

По тому, что из сомкнутого рта не исходило ни мата, ни святых имен, а только рык, из утробы, словно роженица чревоуещала, казалось, что родящая — из приличных, городских, правоверных, может, сказала что не так или не тому дала... Сполохи огня, стрекозы, носились над арестантками, сбившимися в один конец вагона, едва его не накренив, касаясь темных лбов, бессонных глаз, беспокойных рук, которые никак не могли помочь дитю появиться, а состав, словно оставленный без присмотра кемарящим конвоем, все тянул и тянул через леса, и еловые черные ветки стучали о борта все длящегося ковчега, то ли пытаясь его задержать, то ли благословляя, и никто им не мешал, жмущимся у печки друг к другу в общей доле и деле — только Тата, не просыпаясь, все сидела в своей беспризорной позе одна, промерзая.

Мычание, перешедшее в рык, за полночь снова вернулось в глухой утробный звук, она была, видно, первородка: все усилия добровольных повитух никак не близили конца, и — этого было, конечно, не увидеть из вагона, но из кабины паровоза уже заметили этот перелом: наледь на окнах стала как будто острее, и над горизонтом звезды, затухая, начали отдавать в позднюю зимнюю рассветную синь, когда — внутривагонный цельнокройный звук стал сбить, давать паузы, как сбил сам состав, затихать, как будто приближаясь к станции назначения. Женщина теперь только гудела, и ребенок бился плотно, как вставляемая и холостящая пуля, потуга за потугой, словно насекомокрылое, которое никак не может пробить свой кокон, взмах за взмахом, и когда кто-то из баб, подсчитав, перевалился в нужную секунду через долинку между скрытыми мокрыми тряпками грудями и высящимся животом,

надавил и вытолкнул наконец, мать тут же засучила голыми пятками по стремящейся в небо лесенке рассвета — сердце не выдержало, а младенец был весь тут как тут.

Он закричал, и от знакомого звука Тата оторвала лицо от ладоней.

Вокруг было все то же, качка, ход, тьма, только скученность распределилась иначе: алтарем и свечкой была не печка, а светящееся красным светом тельце в руках у баб. Мать не была уже ничем: ей прикрыли глаза и забыли. Первый крик младенца вошел Тате витым, каленым, наждачным гвоздем через ухо — и вышел через другое.

У ребер, поодаль солнечного сплетения, потянуло, напряглось.

Мать унесли к вечеру, когда обходили с кипятком и хлебом, нахлестом сапога откатывая ворота теплушки, высекая оркестровый, горнящий, всепобеждающий звук соитьем ведра и черпала. Тело матери не вызвало замешательства, но второе, спеленатое в хорошие, почти чистые, широкие, как парус, панталоны, на минуту остановило привычный ход дел, раздачу, плеск остывающего кипятка. Тот, что был главным, даже на мгновение ухо поджал к плечу, словно затек мыслью. Распрямился, велел младенца пока бдить, а на станции сдать.

Станция была в горушку, да с горы, да за болотами — вот и она. К полуночи — в штабном вагоне рыжелая керосинка, высоко поднятая над аккуратными бумагами, осветила будто исхоженное птичьими лапами расписание — должны были быть.

Встали, почти приближаясь.

Беда, гражданки справедливо осужденные, беда, зечки: буран.

Куль в тепле подбрюшья у одной рязанской просыпался, ворочался, искал носом, ныл, но пока не перекрикивал паровоза.

Громада сугроба пролегла поперек путей, из паровоза высыпали, кутаясь, потом от работы раскутывались, бросили на пути конвой, там насыпало еще, и еще, и еще.

К рассвету младенец рвал глотку.

Размачивали в кипятке последний хлеб и через другую парусину вкладывали соску в рот, закачивали, вырывая друг у друга из рук; кто-то из деревенских предлагал задушить, все равно без мамки не жилец, те, что из вторыходок, блатных, щипали дур за грудь — а гражданину начальнику что скажем? Меченый младенец, раньше надо было думать! А теперь — держи отчет! Сдавай на станции! Багаж! Согласно квитанции!

Крик утомил до безразличия, резал уши, только когда возобновлялся после недолгих пауз, когда младенец выдыхался, откидывался и бессильно и коротко спал, чтобы потом начать требовать сразу с высокой, зудящей, как циркулярная пила, ноты.

К вечеру снова отвалили — усталый и злой сапог — двери. В отвале, как в раме, стояли задубелые куртки, за спинами их была снежная даль, подведенная тонким штрихом густо-синего горизонта, по стыку простора и откупоренной полости варился надыханный пар изо ртов обоих полов. Внутри тайной вечерей обступили панталоны с младенцем, держа их сразу всеми руками, в которых он бился, как в сетях, голодной рыбиной. Хлеб. Кипяток. Уголь. Закончились. Поверка. Оправка. Стоим.

Младенчика бы покормить — голос безумной богомолицы, вдруг отрезвевший, развалил застывшую сцену и ушел с ветром в занесенное поле.

Хрястнула дверь.

И был снова вечер, и было все то же.

Уголь истлел давно, ребенка зарыли в еще держащий последнее тепло пепел, панталонные свивальники его слились с тьмой.

Грелись движением; раздеваясь, ложились кожа к коже и заворачивались в одежды; наледь по стенам стала колом так, что не отдерешь.

Голоса у младенчика уже не было, кто-то плакал над ним, капая обессоленными слезами прямо в лицо, кто-то совал ему в рот свой послюенный мизинец, чтобы насасывал, бабы поматерей, поопытней, в этих краях не в первый раз, притихли, прощаясь с ним, как с собой: спета песенка. Пар изо ртов больше не шел, дверь не отваливалась, тьма стояла, как в утробе, первобытной пещере, и саблезубый тигр был

уже не страшен со всеми его литературными статьями: смерть предстояла самая древняя, устройством своим несложная, без человеческих нововведений.

Не мерзла, не погибала одна Тата. Горела. Липко было под рубахой, под грудью, на животе.

Коленками нащупывая путь, раздвигая слипшиеся в холодных объятиях вокруг печки тела на полу, двинулась к тем нижним нарам, в глубинах которых был ребенок, обложенный самыми большими колхозницами.

Возлегла. Нащупала личико, рот, просунула в уголок мизинец, чтобы легче было захватывать, пошипала, чтобы проснулся, вложила сосок в уста, чуть надавила: пошло. Сейчас, к третьему дню, шло не желтое, как масло, молозиво, а голубое и негустое, нужно было только насасывать, младенец возился, мусолил, сил вытягивать из железы жизнь не было, и Тата ему помогала, тихонько поддавливала, держала головку, не давала засыпать, и младенец понял наконец, чего от него хотят, вцепился деснами за кругом альвеолы, нажал, еще нажал, зло и сильно, втянул в себя, сглотнул, напрягся всем телом, потом расслабился, и начал работать, стер заживший после Леты сосок снова, и на последнем, еще не наевшись, но смертельно устав, глотке заснул, забыв закрыть глазки.

Тата вернула его чуда не видевшим, но слышавшим его чмокающее явление бабам. Одна грудь помягчала.

Но другая была полна.

Тата нашарила жестянку, в которой топили снег, и тугой, остро режущей ночью струей (деревенские ошалели от звука в своей дреме, перетекающей в холодную смерть: родная буренка приснилась) спустила туда молоко.

Через еще три дня на горушку тяжело вкатывался откопанный от снега и поредевший за время простоя состав, в котором только в женском вагоне не было убыли.

Бабы наелись.

Столетняя машина тюремной почты, связующей как внутри, так и с миром, работала исправно: весть обогнала и потерянный столыпин, подгоняемый ветром из поля, и голос, аукающийся на станциях, и самую Тату, бывшую теперь лишь номерком, единицей учета. Поезд еще только осаживали на дальнем пути горвокзала, голос в раструбе еще только упивался своим многоточием — «...центральная, альная, альная» (название Тате ничего не сказало), когда на Ягнячьем уже шептали из камеры в камеру ее новое имя:

Святая... Святую привезли!

И одежды их сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле и белильщик не может выбелить.

## Глава 13. Агнцы Идель

Остров Ягнячий на округлом озере Малом с твердью был соединен по воде деревянным мостищем, который как раз покрывал половину озерной — мелкой, серой, рябкой — глади.

Словно радиус навели: взяли небесным циркулем за середину — исправительно-трудовой лагерь, окружье прочертили по чуть сдавленному в талии берегу Малого, наконец линию прочертили широкую, низко посаженную, вколотили деревянные сваи в дно — и принялись исправлять.

Ну, то есть, конечно, исправляли там еще задолго до пришедшего в середине зимы этапа со Святой Татой. И задолго до тех, кто был до него, задолго.

Исправляли сначала не выборочно, не отдельные социально-опасные элементы,

а брали выше и скопом, даже не исправляли земные грехи — искупали их: мужской монастырь на Ягнячьем поставили еще в те времена, когда лодки выходили в эти воды промыслять мелкую рыбу. Остров так и прозвали, потому что иногда на дневный улов всей рыбацкой артели можно было выменять новорожденного ягненка у соседских пастухов. Пастухи первыми монахами и стали (утопили одного рыбака при неправом дележе), сами же, оставив живность на большой земле, устроили на Ягнячьем скит и принялись отмаливать свою земную жизнь, ну и рыбака, и все Мелкозерье заодно. После уже, когда потек к старцам люд, zaloжили монастырь. Отару на острове не завели, стены поставили прямо заподлицо с берегом, как будто бог и творил этот клочок земли специально под размер монастыря, но лик агнца (с нежными вихрами под малыми рожками и человеческим лицом) оттиснули над въездными воротами, в арочках, кельях... Ворота одни только пока стали из камня — остальные стены и постройки каменными пошли потом, и к нуждам Татиного века громада крепости подошла как ничто. Вскоре монахов, живших невеликим хозяйством, свели в воду, со стен содрали что было, и на трех розовых рассветах с невысоких холмов окрест читалось, как плотно заштрихована чашка озера Малого черными, с развевающимися подолами, обернутыми к небу монашьями телами, как будто чайнок напустили в кисель.

Мост выдержал и подводы, груженные награбленным (волокли даже мощи пастухов, согласно описи), в одну сторону, и нестройный арестантский шаг в обратную — не дрогнул под их весом. Мост однако подновили, а позже, когда другого пола стало прибывать, колония оформилась как женская. Отары осужденных гнали по мосту, и встречали их от берега Ягнячьего, вдали, в точке намеченной крепости, ни под какими законами не ходящие кошки, плодящиеся у озера еще со времен рыбака. Кошки знали лазы в старой кладке и не боялись колючки.

К Татиному этапу мост снова обветшал, и она ступала над деревянными прогалами, в которые смотрела вода.

Лик агнца отметил ее высоко торчащую из строя голову при проходе арки — Тата ему кивнула как своему.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— На работы меня определили в библиотеку, занимавшую колокольню-расстригу. Приставили к швабре, ведру, тряпке для пыли, изредка доверяли стопки книг. Наверх вела витая лестница, поднебесный ярус, откуда ветер должен был разносить звон по всему Мелкозерью, был забит крест-накрест горбылем, и там я клеила, подшивала, латала старые книги.

Возраст многих из них внизу, на выдаче, измерялся свеженькими пятилетками: монастырская библиотека была тщательно просеяна, но у меня здесь, наверху, еще попадались раненные бойцы с других фронтов. Тома в бархатистых обложках, тонкой бумаги, на непонятных языках, которые и кожицу-то свою носили так элегантно, что даже не разбирая написанного в них, лишь благоговейно открыв, я представляла, как какой-то никогда не виданный мною мир начинал клубиться под куполом заколоченной горбылем колокольни. «Нижний» мир был весь новенький, и те книжки, которые попадали ко мне с порванными страницами, были мне яснее: топорщавшихся, словно шею себе в сторону свернувших букв и многих точек, делавших строку похожей на вышивку, глянутую на просвет, в них не было. Но картинки, если были, то были злыми либо какими-то очень уверенными в себе, и даже если книжка попадалась про сельское хозяйство (кто-то брал от скуки, кто-то надеялся вернуться и похозяйствовать), то вредительство колхозного жука описывалось как преднамеренное преступление и с таким же пылом обрисовывалось. Но картинки не так влекли меня, как сами слова. В колокольне своей, наверху, я сидела при керосинке, светало поздно, темнело рано, днем только прорубался свет из щелей и ложился полосами, туманил стопки, выхватывал согнанную мной пыль, спускающуюся обратно из-под купола, и, свое

отмыв, переклеив и перелатав, я подбирала ноги поближе и начинала разбирать про жука.

Та-та-мы-ла-ра-му.

Лета Городецкая в ухо шептала мне имена букв.

Теперь от меня никто успехов в чтении не ждал, не выслушивал мое мучительное бормотание, и такой простор стоял над озером Малым, на которое я выглядывала, сдвинув одну мной только знаемую горбылину, что значки в строчках наконец встали смиренно, как на поверке, откликались четко, и мне казалось, что я наконец командую ими, одним взглядом своим заставляю маршировать так, чтобы буквы выстраивались в слова, словно это именно я — строгий начальник ИТЛ на острове Ягнячем.

Я читала вслух и представляла, что читаю все это маленькой Лете.

Колоколенка моя, заточенье малое внутри большого (первому радовалась, второе не тяготило — где мне еще было быть? где-то же мне надо было быть...), пусть и не была такой высокой, как в здании вокзала, но все же напоминала мне башню Арама.

В проемах, где должны были вымахивать, раскачиваясь из стороны в сторону, юбки колоколов, тоже были агнцы — не всех успели замазать мокрой глиной, а в раже, в котором забивали верхотуру горбылем (звук теперь над озером если и разносился, то снизу, длинный, гудящий: рельса о рельсу — побудка, поверка, отбой), не было никакой возможности повсеместно сводить овечек, рисовать вместо них звезду. И эти ягнята, заточенные вместе со мной внутри горбылей, и были моей отарой, и слушали про жука, внимали чьим-то речам со съездов, прослушивали доклады института ихтиологии и еще иногда — как я скучаю по ней и волнуюсь, как хочу лечь рядом, уместить ее под мышкой и втянуть сладкий, земляной запах своего ребенка. Отара моя согласно кивала головами — ибо им давно никто не колоколил, а мне мое носить молча было невмоготу.

Возвращаться в отряд — монастырская белесость стен вся покрыта будто бы густо-густо наведенной, до бордовости, марганцовкой, пахнет сыростью, непереваренной капустой, кагалом — на вечернюю поверку, зная, что впереди пустая ночь (день ужимала, как могла, библиотечным бытом, то латая книжки, то относя их на выдачу, то разбирая строчки там, где накануне была оставлена закладка), всегда было самым тоскливым. Но нужно было пересилить себя, ступить в эту холодную воду, в этот воздух нашей широкой камеры под сводами братского корпуса — и потом глубина и холод ночи становились терпимыми, воды катились сами по себе, нужно было только ждать утра, проваливаясь в дрему, выныривая из нее и уходя снова на дно. Из темноты, в одном лишь, над дубовой тяжелой дверью, месте очерченной по краю светом слабой электрической лампочки без «щитка», откуда-то сверху, где чернота была чуть слабее, потому что за решетчатыми нашими окнами не могло быть такой же тьмы, как внутри них (наверное, облака с озера шли мимо и отражали дневную, накопленную ясность), уже когда проваливалась в свой поверхностный сон, на меня выступали маленькие, шершавые, гнутые рожки — и Лета кивала мне головой.

Заточение я переносила легко, от Темниковки или дома Аглаи Ягнячий отличался только большей строгостью режима и полной растворения во времени и пространстве: винтики внутрилагерной системы крутились так слаженно, и так мало было в ней непредсказуемого и человеческого (от него — только стыд и усталость, а страха давно не было), и все больше было процентов, восклицательных знаков, аббревиатур, инструкций из центра и правил внутреннего распорядка, которые съедали весь язык, подминали под себя обычную речь и разум так, что мы были избавлены от самого страшного человеческого труда — думать, как прожить день.

Другие женщины меня сторонились — как заразной, чужой: то ли из-за детоубийства, то ли из-за того, что чудес на острове я не являла, молоком не текла, но кличка моя шла со мной, и то, что я ее не оправдывала, тоже заставляло смотреть на меня исподлобья и обходить стороной. Отменить же ее они тоже не хотели. Низвести, разжаловать, свергнуть... Может, ждали все-таки его, главного чуда... «Вот



бы Святая нам тут все порушила — и айда вести водой к берегу, девки, вот житуха-то, а!..» — галдели иногда, сплевывая между зубов, как будто подначивая. Меня не брали ни в бунты, ни в междоусобные склоки, ни в песни общие, ни в сплетни, ни в поцелуи. Меня даже тиф обошел стороной, погнушался — а наших почти всех покосил, и я носила за ними тазы, подтирала, и библиотека наша стояла в тот месяц пустой, выдачи не было, читатели мерли, и было в общем ЧП, но и то пережили.

*В один из этих пустых дней луч из-под надозерного облака вдруг так высветил полку, что я сразу рванула ее, пролистала, нашла — мои «Маяки Российской империи»... Сама даже не зная, что ищу. Пальцы вспомнили... И ладонь Леты рыжеволосой, и пуговичку, и Сад, и конкистадоров... Том этот ни разу не попадался мне раньше, за все месяцы в библиотеке, и я не удержалась, чтобы не поднять голову к облаку и лучу, текущему из узкой арокки-бойницы. Кто? Кто его послал?*

Страницу со своим маяком я вырвала, сложила, спрятала, как тогда, в одежду и больше ее не выпускала из рук — берегу до сейчас, здесь, за пазухой, у груди, которая млекопитала.

А потом на воды озера Малого нашел огонь.

Тюрьма на Ягнячьем горела три дни, и пламенем своим освещала все Малозерье — можно было вечерами экономить на освещении.

Горящая чаша воды.

Началось в ночи: может, заснул солдатик на посту с папиросой, или масло капнуло из керосиновой лампы, или, скорее, уголек прыснул из печи — никто не знает. Может быть и так, что раздул кто этот огонь (кто же?): много бумажного пепла стояло над плацем, где обычно были поверки. Разгоралось хорошо и повсеместно, как в топке, расходясь волнами от колокольной спицы, как из очага. Караул встал сначала в ружье, потом — за ведра, тушили и сиделицы, скопом вывалившие из отрядных келий на воздух, не успевшие надышаться газом, а потому только злые со сна, заполошные. В рельсу била Тата. Огонь наседал, открыли въездные ворота, чтобы был доступ к воде, а как зечки совсем проснулись, прозрели, то и тушить свою тюрьму бросили, и в растушеванном облаке чада, стоящего над озером Малым, видно было, как исчезали за задником прорисованной углем сцены — и рыжие лижущие мазки по краям — спины бегущих расхристанных женщин. Как радостно и быстро шли они, мелькая голыми пятками, по дальней воде. И если кто оборачивался, то зажимал от ужаса рот. И крестился.

Святая смотрела им вслед.

Ей-то и разницы не было, где быть.

Мост схватился сразу и горел хорошо, а когда наконец рухнул в четырех местах, провалившись, как двугорбый верблюд, Тате с Ягнячьего показалось, что пуповина оборвалась, перерезалась, перестала. И нет больше никакой связи между островом и землей, и теперь можно совсем наконец раствориться, не быть вообще нигде.

Затихло только на третий день — и ни земля никуда не исчезла за это время из-под ног, ни Тата. И даже арка ворот не сгорела.

Никто не погиб от огня. Только пара не верующих в Тату баб потонула в озерной ряби. Кого-то покалечил караул при попытке к бегству, но многие добрались до берега, растворившись затем в народе и пойманными бывши не были, — заключенных женщин на острове не осталось.

Одна Тата.

«Чудо, Святая, чудо, господи, помилуй!» — еще долго стоял голос беглянок над озером Малым.

Агнец надвратный кивал.

Ей одной. Благословлял жить.

«Начальник Гидрографической части архангельского порта объявляет мореплавателям, что с 1 числа августа по 16 ноября, с захождения по восход солнца,

будет производиться опыт маячного освещения на церкви Секирной горы, назначенный на нынешний год только в 3-х окошках тремя лампами, так что свет будет на пространстве от линии на Север от Сосновой губы, чрез запад до направления на острова Ромбаки. Мореплаватели приглашаются замечать его вообще, не закрывает ли его туманом; о степени пользы доставлять сведения в Управление Архангельского порта, означая, когда и с какого места как огонь виден».

## Глава 14. Повитуха Кемь

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Там, на Ягнячьем, я увидела назначение случившегося в Аглаиной ванной. Это Лета меня вытаскивала наружу, из нежити моей, нездешности, тьмы, будто я застряла в родовых путях и шла потугами в темноте и страхе — к тонкому оконцу света в конце. Вот так вытаскивала, собою, всю себя мне принесла в дар... А я девочку свою в горячке, бессоннице и тревоге, объяввших меня, оставила в водах — спасая от такой же тьмы.

Вышло — что в залог будущей жизни.

И вот путь этот, начавшийся давно, привел меня сюда. На Островецкие острова. Наживлена пуповина, налажены мостки...

Вот уже и осаживают нас, на первом. В форточку мою тянет солью, волной, беззвездным вечером. Я сойду, а состав еще потянет на север и к ночи будет в конечной точке, областном центре.

Долго вел меня этот путь.

Сразу после освобождения (скостили немного, последние годы была в Явасе) я пошла, конечно, сразу к Араму.

Сохранившиеся у меня за все разбирательства и пересылки, не сменянные ни на что и никем не отобранные — не потому, что берегла, а потому, что не держалась за них — карманные часы карлика из башни Киевского вокзала были мною задешево проданы на толкучке у станции с рук мордве. Ехать я решила по билету, хотя и навык иного не был утерян. И нужно было, чтобы еще хватило на теплые вещи (бушлат и мужские валенки с калошами — выпускали ранней осенью, снега еще не было, и недорого брали) и булочку, сырок плавленый в пути, кипяток бесплатно.

Часовая башня меня тянула. И еще я знала, что должна проводить Арама.

Поезд пришел к трем вокзалам, кирпично-зелено-молочной площади, поздним утром, когда в городе все засели по присутствиям и суета сошла на нет, даже и на площади упорядочилось движение, ночевавшие на вокзальных лавках окончательно расправили затекшие члены и раздобыли завтрак, день потек. До Киевского Тата шла пешком, на нее оборачивались — высоченная, в мужском, идущая сквозь — и Киевский ее встретил целехоньким. И башня, и часы.

Арама же она не узнала. Только размером своим он выдал себя.

Карлик состарился за эти несколько лет на два десятка, обглоданный своей хворью — впилась в позвоночник, в самый горб — до яблочного огрызка, до соляного столпа, источенного по краинам ветром, и стал похож на сухую ветвь покореженную — как та, с которой упал. Боль еще не пришла, и он продолжал заводить часы, сам хорошо понимая всю глубину и бессмысленность этого жеста.

По небу текло, под ногами спешило. Тата поднялась на самый верх, минуя изнанку часов, клетку, в которой был заперт механизм, и линзу окна, высматривающую город. Картина была той же — только погоды сейчас стояли другие, ну и шляпки тоже. А так — то же. И стекло толстое и мутное, через которое открывалась с одной стороны даль заставы, за которую уходили, отдавая Араму последний гудок, поезда, с другой — столичные шпили, и еще накрахмаленные облака, в которые те упирались, и река.

Сделав работу, карлик, обессилив, лежал. Завод требовался ежесуточно, и

протирки маслицем, и порядок чтобы был в башне, и режим. Когда Тата явилась, поднялся на локте, узнал, достал кипятку и заварки — варенья из яблок от рязанских мужиков теперь не варил, пили впустую — Арам сразу ощутил, что значит эта встреча, ибо сквозняк из-под Татиного плеча никуда не делся, он никогда никуда не девается, хотя может затихнуть и так сильно не дуть... Весь своим собственным сквозняком продутый за полвека насквозь, Арам дело Татино, ее провожание знал (хотя и не знал ничего про Лету, про все, что последовало после их последней встречи), и ему явно было, что для него самого значит ее приход.

Тата пробыла недолго, до следующего дня. Мыла гриву ему, стригла ногти, варила совсем прозрачный бульон (курицу на последние деньги взяла на заставе, и еще туда одну новенькую луковицу, и он даже дал себя накормить, выпил полчашки), впустила воздух в застоявшуюся каморку, перетрясла постель, соорудила мягкое из подушек — Арам спал, привалившись боком, гнилой горб не давал толком лежать... Проводила. И частичку своего бесстрашия перед смертью ему отдала.

И гран — на кончике ножа, как кристаллы снадобий, которые безумная мать давала ежеутренне Араму — его любви взяла себе тоже.

Таинство сопричастия.

Время Арама заканчивалось, и совсем скоро для него оно перестанет совсем, и так явно, так физически явлено это будет, что от этой мысли он вдруг ощутил на своих пальцах машинное масло, которым смазывал — масленочка алюминиевая, жесткая кисть — шестеренки башенных часов, и тоску по труду этому привычному, но еще больший — покой, и покой этот шел перед Арамом в розовый облачный рассвет в огромном башенном окне. Стекло дробилось и складывалось в калейдоскоп: яблоневые лепестки, цветные склянки, драгоценные камушки с перстней — и золотом отрисовывало все прожилки между деталями встающее за городом солнце.

«Как дочь назвала?.. Как ты сказала?.. Где ж она?.. А... Ты-то еще поживи, поживи...»

Времени больше не стало.

Тата накрыла Арама своей шинелью, купленной в Явасе, которая охватила его всего, закрыла так легко сейчас подавшуюся дубовую дверь в основании башни и вышла прочь.

Город ждал ее, зябкий, спешащий, с пролившимся к обеду серым дождем.

Ни якоря, ни маячка у нее не было.

А время было все впереди.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Место свое я определила сразу — просто вернулась к тому, что знала, где была нужна — и потом от него не отступала. Мыла полы, кипятила и утюжила, разносила стопки пахнувшего влажным жаром белья, сдавала ключи старшей сестре, считала расход хлорки на ведро, поднимала со складов наверх коробки с растворами, таскала матрасы, черпала гнутым алюминиевым половником вермишель — труд мой всегда был об одном: санитаркой ли, нянечкой ли на кухне, в прачечной или в палатах, век свой я провела вот так. Как знала. Незаметно, но так, чтобы быть поближе к тем, кто может во мне возыметь нужду.

Тогда, от Арама, я вышла в город и где-то в старом центре, под тополями, темно блестящими от влаги, в сыром, чуть подсвеченном от неба голубом дворе набрела на жилконтору и выпросила себе и угол, и кусок хлеба. С прежним дворником как раз прощались всеми подъездами.

Гроб стоял на двух табуретках, закутанные в женские шали дети таскали у старух карамель, дворничиха шептала покойнику в дорогу проклятья, а утром я заступила на его место. Раскладушку мне поставили прямо в каморке, где хранился инвентарь; окон в ней не было, этаж был половинчатый, полуподвальный, единственный проем света был вверху зарешеченного стекла, впускающего облака только ближе к обеду, на час. Я появлялась во дворе первой, в грозном облике всех своих жестких фартуков,

негнущихся рукавиц, ершистых метел; и ток осенней воды, и хруст первого снега, и слякоть под калошами серых валенок на мужскую ногу, и воробьи болезненные и дерзкие, голодные, множественные, потемневшие от непогоды, были мне этими плотными — только гляди размахивай метлой или лопатой — всесезонными утрами, когда гул в руках перекрывал всю течь мыслей, единственными спутниками.

Белье четвертой степени загрязнения перед стиркой подвергается бучению в щелочном растворе. Палка, которой тащишь его из бака, — уложено гладкими рядками, как спящие в норе шенята — осклизла, белье неподъемно, но уже безопасно. Стафилококк. Синегнойная. Микроспорум. Малоценные книги при дезинфекции сжигают. САНПИН Тата выучила твердо. Руки в красных, как будто проказных, шершавых пятнах, жилы вспухли. Каждое пятно говорит о своем: фекальное, кровяное, бурой мочи, здесь просто рыдали в подушку всю ночь, муж так и не пришел навестить, это — вышел послед, ребеночек здоровый, только роженица оставит его казенному дому... В теплом и душном пару перед Татой мешались истории болезней, имена, даты, она их не гнала, и из влажности больничной прачечной, из капель, подвешенных над оцинкованными чанами и деревянными лоханями, как пустынный мираж, ткущийся над источником, смотрело на Тату Летино лицо, которое теперь видно было с подробностями рисунка кожи. Руки в кипящие баки. Тереть — не перетереть. Наверху, в палатах, рождались, умирали, пачкали простыни, и так до скончания века.

Ее кулачок можно было поместить в кольцо своего мизинца, так мал.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

*— Пол моего окна в жилконторе выходило на раковый институт, и с середины весны уже, когда я выползала бороться с лужами, мне видно было, как после обеда больничный двор чертили иногда слабые закутанные тени. Скоро я работала там. Делала что умела. И за комнату смогла платить — над подвалом. Потом работала еще много где — там, где находил себе приют намаянный человек.*

Грудь мне удалили в этом же институте. В лифчик слева я стала подкладывать детские пеленки, мягкую фланель или сбивала тугий ватный ком. Она была небольшой, и ваты из шуршащего коричневого аптечного куля хватало надолго.

После этого я поняла, что такого, как было у Дудиных или у других, я на земле не проживу, потому что все телесное, казалось бы, долженствующее после Темниковки с ее гипсовыми кроватками с прорезьями для мочи, общими для мальчиков и девочек тряпками, после этапа и замерзающих вповалку на нарах немых арестанток, после виденного мною на Ягнячем, когда соскучившиеся женщины шли друг к другу, прикрывшись только ночью, в отряде, после всего этого все телесное, казалось бы, должно было просто быть мною незамечасемо — но вышло иначе, наоборот, и стыд, умноженный воспоминаниями о том, что было с Солововым, был тем, что вызывало во мне мое тело. Поэтому после операции я и вовсе себя в этом смысле забыла.

Хотя ведь к тому времени уже и ждала этого — тепла, человека, живого, своего, и мне казалось, что если встречу, то не струшу, не сбегу, не покалечу заново... Хотя и не встречала такого — от которого бы стало так же горячо за ребром, как Соловову, когда меня только определили в Темниковку.

Но было ясно, что если не будет такого, то другое — да, я смогу. Уже могу. И хотя возможность любви телесной, семейной, парной я для себя отвергла, вся она протекала сквозь мои пальцы, и было ее вдосталь вокруг.

Вочеловечивалась я постепенно. Просто шла за теми, к кому приходила, — туда, куда они меня вели. И любила вместе с ними.

И шишкастые эти корни георгины на шести сотках, перевитые, выпирающие, темные, напоминающие головы горгон или безумных стариков.

И становящуюся миндальной под солнцем (и больше всего атласную на спуске к коленкам, а на спинке — бархатную) кожу трехлеток, вывезенных впервые в Анапу и глядящих на море, сидя на руках у матерей.

И запах нагретого песка в Серебряном бору, мешающийся с опавшей хвоей и поднимающийся от каждого шага. Еще не изъезженная, зимняя дача. Жучок, поевший любимую книгу и забытый в ней виноградный лист. Чай с мятой из термоса. Нетерпение — в предчувствии долгой прогулки за грибами, выпекшегося пирога. Господи, сколько всего здесь есть...

Что-то у меня было свое, что-то — заемное, переданное в дар, подсмотренное в щелку, воспринятое и мной тоже пережитое. Я провожала уходящих, и страха становилось все меньше. А жизни — больше.

И как же по ней я скучала, по Лете. Как.

Супница рейхенбахского сервиза, мелкий желто-голубой ситец по фарфоровому полю, пухлая и широкая, как баба-грелка на чайник, с двумя удобными ручками, похожими на ухваты для крестьянской печи, всей своей основательностью являла скол целого эпоса, и супница — на подступах к Измайловскому парку, на земле в разводах весенних луж, крытой цветастыми столовыми клеенками, — Тату к себе и приманила. И Тата сразу поняла, что не в сервизе дело, а во владелице. Товару у нее было чуть — селедочница, графин с жадно хватающими воздух синими карпами (во рты предполагалось заливать горькую), две тарелочки с хвойным узором, две кофейные претончайшие чашечки, элфэзэ, тот самый блокадный кобальт. Но супница была главной, потому остальные предметы были — лишь предметами из разных сервизов, а одинокая супница была — знак. Символ. Жест. И по всему понятно было, что хозяйка на развал пришла в первый раз, и что, скорее всего, потащит большую часть добра обратно домой и никогда не вернется, и что расстаться с супницей — это и кусок из себя с мясом вырвать, и отсечь наконец ноющее, решительно, одним махом. Это было ближе к девяностым, когда Тата траченную жизнью эту испитую тетку с низким голосом восприняла — через супницу рейхенбахскую, три зеленых рубля за нее отдав. И владелица, конечно, все про себя рассказала.

Провожала до метро, сегодня единственный день чистая, трезвая, спеша все договорить, и Тата сама ходила круговыми дорожками парка, прижимая супницу, завернутую в газету, к пустой груди, и тетка, забегая перед Татой, устав смертельно от авоськи с селедочницей и прочим, проверяла вещицу время от времени, как плохо укутанного в морозы ребенка, то тут подоткнет столичную прессу, то там.

Это же папа, это же папа, когда из плена сбежал, маме принес.

Он в темноте сеней — рекой сразу пахнуло из приоткрытой шелки, соловьями майскими, рассветными, туманом — встал, весь каждую минуту жданный и со сна сразу узнанный, не в лицо, не в запах его чужестранный, не в рост, но по тайне явления, и супница в вещмешке вместе с ним была спущена в подпол, но разглядела жена ее — стоящую, с аккуратно протертым гимнастерочным рукавом гляцевым боком, важно среди влажных кадок с малосольными огурцами и яблоками, как ваза или предмет интерьера, только следующим днем, когда отлежали друг другу бока, выжали весь воздух из подвала, проголодались... Мать босая прокралась в кухню, сказала домашним и посмотрела страшно, прихватила одеяла, подушки, хлеб, соль, самогон, картошку, таз с водой и ушла в подполье, в колхозе сказавшись больной. Котелки с горячей кашей забирали у откидной крышки лаза, утром и вечером, квас живой, сухари — старики бегали, старались. Съели все яблоки.

Мыла она его, проходя каждую складочку на теле, как ребенка. Ноги, которые добежали до нее, отирала волосами: распустила узел из-под платка, давно никем не виденный гречишного меда поток разлился и засветил подполье. Спала, положив ему голову на живот, утыкаясь пятками в мокрую стену. Зябли. Грелись кожей друг друга. Крышка подвала была подогнана плотно, вскрики ее колотились о нее, падали назад; женаты были всего недолго, а ушел он два года как. Потом снова спали, она тревожно, вздрагивая, как младенец, он — бестрепетно, потому что еще по дороге, посреди брусничных этих кочек, все для себя наперед решил. Снова ели яблоки. Глаза привыкли к полутьме, освещенной огарочком, взгляд уходил по ней вглубь, где еще

женихались и в каком-то заволоченном одуванчиковым пухом облаке прыгали в реку с обрыва; уходил вдаль, где кончится война; и в сторону тоже уходил, в чужую сторонку, хотя здесь ей пришлось и поднажать, и тогда только услышать про супницу.

Понимаешь, я не крал. И нести ее неудобно, и тебе без надобности, и мне в пути ни к чему. Воду ею, да, с болота черпал, из проталин, а так — нет. Но такое дело... Я вот думал, это все к чему? К чему я к тебе продираюсь, жить хочу? Стреляем к чему, все эти наступления, сводки, каски эти за чужим рвом? Мы ж совсем забыли... К чему. Мы еще до того как все началось забыли, зачем все... Зачем живем. А вот чтобы супница. Чтобы скатерть, и абажур, и живот твой мягкий... И суп, да, и суп чтобы в ней. Борщ, сельанка, щи крапивные со сметаной. А у них, знаешь, едят тушеную капусту, без меры. И тоже жены, и тоже скучают... Я, не поверишь, рейхенбах этот, у них манифактура такая порцеленовая, для богатеньких, на крайнем тыне (попался один хутор по дороге, не обойти никак) разглядел, видать, городской горшок-то тоже до крестьянской избы проделал кружной путь, но что гадать, война, все бывает. Ну и до ночи я хоронился в лесу, потом краем прошел и супницу прихватил. Нет, не крал. Я ее как светильник высоко поднял, высоко нес, светил себе ею. А теперь тебе свечу... Я, Тань, пойду завтра, ты не плачь сильно.

Уходил за полночь, так же дверь она ему приоткрыла, и так же темна была ночь, воздух уличный шибанул в нос, но запах он уносил ее, густой, яблочный.

Проводила его за три реки.

А сама осталась с супницей. И пальцем ее никогда не тронула.

К осени слухи по колхозу поползли. Жена кадрового офицера, муж, защитник родины, пропал без вести, а она... Ходила тяжело, отекала, опускала ступни в реку, чтобы унесла тяжесть, остудила. Ждала теперь не мужа с войны, а ребенка. Колхоз ее затравил, старики молчали, тряслись дома, гладили по голове, после, мне с годик было, наверное, мать прихватила меня, и мы поехали на новое место (бабка насильно упихала в котомки рейхенбах), где никто не тыкал носом, что родила без мужа. Мы долго мыкались с места на место, но мать так от этого стыда и утихла наконец, успех, правда, узнать, что нашли медальон отца в братской могиле в сутках пешим ходом от их дома, а реабилитации дожидалась я одна, но это было уже неважно.

Весь стыд тетка уместила в рейхенбахскую супницу, которую таскала за собой с места на место, пока не донесла до блошинки на Измайловском рынке. Цирроз ее был уже терминальным, но видно было, как порозовели от рассказа у нее щеки, как будто воздуха впустили в затхлый подвал. И слова все вышли.

Тата прижала потесней запеленатую супницу и пошла, не огибая луж, к метро. У турникетов тетка догнала и молча сунула ей в карман трешку.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Мне шло к сорока, а может, и перевалило за (как неразличимы отсюда, из этого узкого качающегося коридора, словно капитанского мостика, навешенного над волнующимся морем многих жизней, эти ничего не значащие вежи: мне сейчас сразу и семь, и семьдесят семь). Так вот, шло, а может, перевалило — просто для представления точки на шкале — когда явственно что-то для меня поменялось: как будто состав выдыхаемого воздуха стал иным, будто на реке вскрылся лед, хотя вода осталась прежней... Не то что притерпелась к тоске по Лете, она как раз была и есть неизменного свойства, как какой-нибудь эталонный грузик из палаты мер и весов. Не то что освоилась в своем одиночестве — оно всегда было моей неотъемлемой частью, как мизинец или, скажем, подошва стопы. И дело свое я воспринимала не как службу и не как служение, и не было оно для меня ни смыслом, ни трудом — спросите дождь, что он думает, когда проливается... Все это было мной и со мной от начала, так долго, что я, как верблюд, несущий свои горбы через пустыню, просто шла дальше, не высматривая оазисов и не тяготясь песком под ногами. Но что-то во мне поменялось.

Я уже все для себя определила про свое устройство. Быт особо ко мне не цеплялся: за комнату было чем платить, работа была, а многого мне не требовалось.

Где-то в то время я сменила юбки, которые носила то чуть выше, то чуть ниже колен, на платья; шить приходилось специально, на мой рост не найдешь, но заказать пару платьев в несколько лет было незатруднительно даже для меня: кургузая, вся какая-то втянутая внутрь себя, так что наружу выступали как будто корни суставов — и еще то папираса, то булавка во рту — портниха этажом выше брала заказы, и перетерпев первую и последнюю примерку — озябнув в лифчике с фланелькой — я иногда поднималась, взяв еще кулек баранок в булочной, к ней с очередным отрезом этих сплошь синих, серых, заячьих каких-то, неразличимых тканей и заказывала у нее наряд на будущий год. Та смотрела несколько секунд пристально, оценивая на глаз расхождения с изначальной выкройкой (их не было, я и сейчас несу спину прямо), цокала языком, брала свою мзду, прямо в темном линолеумном коридоре, прихватывала сушки — и вручала мне готовое через несколько дней.

Ела я — и ем — что-то подсобное, не требующее сложной готовки, пью чай, заваривая в него траву, что попадет под руку: чабрец, мяту, смородиновый лист. Сплю мало. Иногда головные боли — но это и не удивительно: контузия, ношу с собой цитрамон, но это скорее для виду, потому как цитрамон не помогает. Иногда у меня водятся деньги, ибо почти не трачу, иногда — нет, ибо раздаю. Но я не о том, не о бытовом. Вспомнила важное... Я несколько лет как освободилась, когда заметила это. Другое. Только выйдя на новую вершину, можешь оценить сделанный маршрут: и я увидела, что со мной перестали случаться обстоятельства, в которых я носимой ветром щепкой пребывала до следующего порыва, но теперь я-сама-жила. Пробовала. Пыталась. Делала шаги в этом направлении. Подталкиваемая в спину карликом из башни, висельницей из библиотеки Ягнячьего острова, ночной няней, замкнутыми на себе, как электрический контур, Дудинами, мальчиком с виолончелью... Давай, давай, дыши, шагай, смелее...

Ничего, если смотреть со стороны, не поменялось в моих днях. Я не завела на каждом кресле (да у меня и кресел-то не было, ни одного) по кошке, не взяла приютского ребенка, не ушла в церковь, не развела огород и не записалась в ДОСААФ... И со мной не появилось человека, который тоже стал бы мною... Нет. Но теперь каждый день не был набором обстоятельств — он был глиной, даром, чашей. То, что было во мне лишь заемным, чужим, вся эта радость бытия, все это беспокойство о земном, все — проросло наконец во мне... И ко мне стало приходить свое, мое собственное, только мною знакомое. То, что не нужно держать, а можно просто позволять этому длиться, наклоня голову к плечу и дивясь; то, что можно увидеть, только не боясь это заранее потерять, то, что может стать твоим, только если заведомо отказаться от всех прав обладания...

*Гриб березовый, шляпка блестит, как натертый паркет, от дождя, плоский нож осоки прилепился с краю, как выпавшая прядь к потному лбу... Девчонка, внучка портнихина, пяти лет, вдруг полюбившая меня, мы с ней чаевничали — из граненых стаканов — вечерами, она таскала мне от бабки (порой мои же) баранки... Воробьи, которые стучали мне клювиками в окошко — и забирали наутро крошки... Я знала, что не смогу сделать своим, приручить, забрать домой — как котенка с улицы — никого, но и любовь от этого почему-то не уменьшалась, а, не взятая в скобки собственности, была полна... И я совершенно безвозмездно влюблялась.*

*Всегда было в кого. Девчонки эти, только-только из училища, на дежурстве, за шкафом с навороченными порошками, готовыми к выдаче, строчащие что-то на изнанке больничных бланков, краснея — а на пересменке прыскающие со смеху, одним им понятному. Пассажиры в метро синей ветки в опалах прозрачной, одинаковой газетной бумаги, он читает у нее, она — у него, а выходят не вместе. И малолодные замшевые дворики в центре, и засыпающие на ходу мамы с бежевыми колясками (огромные колеса, как у кареты с тыквой), и если сидишь на лавочке у церкви, жуя свою булку с яблоками, то видишь, как из врат после службы вытекает, подталкивая прихожан в спину, какой-то летучий покой — и рассеивается к Сивцеву Вражку... Всегда было в кого, во что, теперь всегда. Они, все они, обе Леты мои, и Арам, и Пётр Фёдорович, все они меня вытащили на*

*свет божий. Из мрачной пустыни. Вдохнули жизнь. Перерезали пуповину от смерти. Ну все, давай, сколько можно, живи. Ваша станция, женщина. Приехали.*

От островов Островецких меня отделяет теперь только вода, черно-серебряная глубь, вплавь никому не уйти. Пенистый и пресный ветер обдирает губы, рвет с них слова, кажется, воды вот-вот расступятся.

И я все пойму.

Ты послушай-ко, млада-милая, что я буду тебе сказывать, горюшиночка наказывать, я в остатние во последние: ты сойдешь да, млада-милая, ты на тот да свет на будущий. Тебя станут звать да, млада-милая, станут звать да за Забыть-реку. Ты послушай, млада-милая, ты в остатние во последние: ты не ездил за Забыть-реку, ты не пей-ко Забытнoй воды. Ты забудешь, млада-милая, ты свою родную сторонку, ты забудешь, млада-милая, ты меня да горюшиночку со своим да малым детушкам.

## Глава 15. Маяк Островецкие острова

Пристань Лизин причал.

*— Усталость подбиралась ко мне долго и издалека — так еще в конце июля различаешь зачатки осени: как будто смурнее утра, сдержаннее на рассветах птицы, лист, еще не желтый, отрисован по краю резкой, строгой чертой, и все тяжело этой усталостью силы, как небо налито теменью и влагой перед грозой, как женщина полна своим младенцем на последнем сроке. Я давно отмечала вкрадчивые лапы этой усталости, оставлявшие отметины на моем теле. Тело дряхло, и вот сейчас меня хватает только на последний рывок — но я совершенно точно знаю, что это не усталость души, нет. Я совсем себя не тратила за эту жизнь... Ни на детей, ни на любимого, труд мой отнимал — до ломоты — только руки, ноги, еще поясницу, но себя я не тратила... Ведь от меня никто ничего не взял, и никакого следа не пошло от меня. В меня только клали свое, докладывали, отдавали... Я чувствую себя одновременно и звенящей колокольней, под завязку полной историй, и немой рыбой, бестолково открывающей рот, и девочкой, которая не может осилить слогосложение и прижимается низко, чтобы разглядеть букву с торца — в надежде понять, что та значит... При-чал. Там написано «Лизин причал», над качающимся берегом Островов. Даже у самого широкого моря есть край, даже у самого дальнего острова — берег. А уж в наши-то дни и подавно... При-чал. При чем, чайки, чай... Слово, приколоченное перед «причалом» — деревянные горбылины съехали крест-накрест и входят под них, как во врата — узкое, короткое, ветер слизывает его, и оно ускользает, да и важно ли это, если вот он уже — причал, можно сходить, суденко наше полощет коричневая, в молочной пене волна, но усталость, которая тоже делает вместе со мной последние рывки, вот сейчас, когда качка успокоилась и я обрела твердь под ногами, чуть-чуть отпустила. До следующего броска.*

Это осколок. Он толкается, как ребенок в утробе, просит выхода. Слишком долго сидел, мучился, ждал. Как в темнице. Он тоже устал. Он и так терпел очень долго... Я иногда прижимаю ладонью то пульсирующее место за виском, где прошел невидимый под волосами шрам, но разве можно задержать роды?

Когда стало очевидно, как вконец я устала, состарилась (но не так, как многоликие провоженные мною старухи, у которых по многу лет кололо сразу в пятнадцать местах и оставшееся им время занимало перечисление симптомов, нет: эта дряхлость навалилась совсем решительно, как будто отключают, плавно поворачивая ручку влево, центральное отопление и одновременно распускаются сдерживающие тебя внутри струны, и ты знаешь, что есть всего несколько дней до наступления холодов), так когда это стало очевидно, я расправила на коленях Летину, то есть теперь мою уже, на Ягнячьем выдранную, страницу с маяком, сверила еще раз с пуговичкой,



на которой был выдавлен его абрис, приборала за собой, отдала ключ хозяйке, денег как раз хватило на билет на поезд и еще чтобы пересечь пролив — ну и вот.

Если не глядя провести пальцем по краю пуговички, описать дугу, под подушечкой оказывается не покатость, а как будто волдыри застывшей лавы, которой кто-то пытался придать правильные черты... Вспученный контур, вспененный круг. Даже с зазубринкой. Кто ее оплавил и зачем? И кому предьявить теперь это доказательство бытия?

Храм-маяк в наших краях один, и я знаю, что прибыла по назначению. И как будто свечу себе вглубь, в начало своего пути блуждающими огнями давно ждущего меня на лицевой стороне пуговицы маяка.

Это присвоенное имя, это рождение мое, Таты Тутиной — Натальей Сергеевной я была лишь на редких бумагах — из глена и пепла развороченного эшелона с туберкулезными детьми, эти небывшие мои (где?!) детские годы, эта пуговичка моя и чужая записка — все это как заглавная буква в начале строки. И вот сейчас, когда нужно ставить точку в истории, оказывается, что буква эта же — и в конце. И я держу ее на ладони. Литера Тэ.

Причал живет солено, ярмарочное копошение под близко нависшим небом, пир во время чумы, газельки увозят японских туристов в ухабную глубину, паломники смиренно идут к монастырю пеше, и на человеке, который ее встречает — как будто телеграмму дала, хотя не было никакой телеграммы, и не знает Тата о нем ничего — никто не задерживает взгляд, как не задерживают его ни на зацепившихся за тяжелые купола облаках, формой каждому напоминающие свое, ни на снующих туда-сюда лодках под бензиновым мотором. Плоть от плоти острова, дух его, вросший в землю. Леших так изображали на бересте, разве что без рожек, и очень тих. Проросший сединой и травами, невесомый, мозолистый и бессловесный, в чем-то камуфляжно-туристском, заблудившийся стройотрядовец из 60-х. И глаз, глаз крыжовенный, глубокий, светящийся на солнце, кошачий, бывают такие степные дикие коты... Изгой, робинзон, хранитель древностей, древность сам, реликт, как будто забытый на острове студенческим десантом в прошлом веке и блуждающий по его земле в своей умозрительной параллели... Никто не задерживал на нем взгляд. Ни водители газелек, ни экскурсоводы, ни японцы, ни паломники, пассажиры последней «Метели». Примелькался, знаком, всем известен, местный тотем и блаженный. Все хотели задержать взгляд на Тате, которая была как раз острову в масть и оттого, казалось, должна была быть неприметна: и одетая, как многие богомолицы, и строгая, и одна — но наоборот: тянула на себя взгляды.

«Что у тебя?» — только спросил, шагнув к воде, дух. Сошедшая на твердь старуха, еще переживая внутри качку, шурясь, примеривая дыхание к местному воздуху, раскрыла большую ладонь. Пуговичка с маяком. Развернулся, хлопнув резиной старых сапог, почесал внутрь острова, куда-то сразу наверх, в зелень.

И она пошла за ним.

Вокруг все было так, как и рассказывал Пётр Фёдорович, знавший эту землю из писем Оленьки. Стариковское бормотание на каждом шагу обретало явственные подтверждения, как будто время не тронуло главного, а неглавное, будущее, лубочное, в Оленькиных письмах не учтенное, Тата умела отметить, делать поправку на век.

Были знакомы и ломоть этот земли, утопленный в северном море, как надломленный хлеб в жидкой баланде, и сбежавшие к заливу покореженные березки, словно не смеющие вырасти здесь прямо — пригнутые к земле, изломанные, руки тянущие сказать. И влажное сизое небо, проплывающее над оседлыми, приземистыми, как добротная крестьянская утварь или шишкастые колени великана, башнями монастыря. И блуждающий огонь, выхватывающий отражающую небо гладь до самого горизонта, откуда ни приплыви, хотя приплывают в основном от бывшего пересыльного пункта. Все было на месте.

Тата знала, что ей на маяк. Французское это причитание сумасшедшего старика, понятное каким-то шестым, подкожным, там, где крепятся корешки шевелящихся волосков, чувством туда и вело. И пуговичка туда же. И дух.

«Подожди, — говорила она кому-то, следуя за ним. — Подожди», — тянула руку к виску.

Землянка (крыша — продолжение лесного мха, густой слой его, переливчатый, от серебряного до густо-болотного, через всплески изумруда, драгоценные темные точки голубики, желтые вкрапления плесени) изначально была устроена для нужд хозяйственных монастыря, то есть произрастала под горой третий век, потом пошла на потребу лагерю, а потом в ней окопалась ученая компания (дух и сам не помнил, кем он в ней был), от которой он отбился. Засел в ней лесной человек, успевший подвизаться на острове и на стройке, и на кухне, и в архивах, и на пленэре плотно, и его решили не трогать, за постройку не биться, тем более что худа была и бестолкова, а человек смирен. Отбился от своих, застрял на острове, то рисовал его, пока не кончились привезенные с собой краски, то искал что где мог, слушал, поначалу еще слушал старых людей, собирал тогда еще едва не в каждой луже по весне всплывавшие артефакты то монастырской жизни, то чаще — лагерной, выходил иногда к людям за прокормом, мелким приработком, сдавал в лавку акварельки свои маленькие, писанные на обрывках, а потом перестал, остался сторожить лес и камни в нем, все как один бывшие могильными. С ума сошел, — говорили в поселке; блаженненский — добавляли. Воспринимали как явление природы. Как иногда бывают похожими на человеческие лица узловатые пни, рисунок мха или завивы ветра на сухом песке — так он был похож на оплакиваемый остров, неотделим от него, а потому неприкосновенен. Обидеть духа было делом немислимым, но и всерьез его не воспринимали: не молиться же, в самом деле, дождю и не интересоваться самочувствием пены в прибое.

Но зато он и знал многое.

И человеческой своей ипостасью успел впитать все, что слышал от тех выживших, кто приплыл сюда однажды в брюхе, как сельдь в утробе кита, усаженный туда ночью, пересчитанный, под лай собак, качающийся в секущем ветре фонарями. Впитал все следы, что успел прочесть на камнях у деревьев, все выцарапанное на прогнивших, оторванных досках барачков, на коричневых огрызках канцелярских бумаг и перекрашенных монастырских сводах — везде, где проник невесомым дуновением ветра. Имена, цифры, списки, способы, речи, обрывки фраз, даты. И нечеловеческой сутью своей усвоил многое. Корни слышал, которые оплели скелеты, сплели их в темноте. И маяк, достающий едва ли не до Архангельска, высвечивающий своими выпуклыми линзами акваторию всей окрестности, как делал это от девятнадцатого еще века, когда навигацией рулили монахи, говорил с ним, подавая сигналы лучом. И воду знал, по которой многие хотели уйти (не ушел почти никто): она иногда приносила — с одним из небольших рейсовых теплоходов — важных людей.

Тата была важной.

И пуговичка ее была важной.

Дух ее знал.

Держал в руках ее сестер. Четыре крупные пуговицы с арестантского ватника, коих в морошковом ковре, устилающем лесные могилы, было как грибов, — и только эти четыре были такими, на особинку: человек постарался, придал им лик... Свое обличье. Маяк на них, стало быть, хозяин — маячник... Должна быть и пятая сестра, дух знал. А имя — имя было стежочками нашито на стеганке рядом, и дальше уже и труда никакого не надо было — знать, что за этим именем придут. Потому что нет-нет да и приходили. За именами. Корнями. За оставшимися меж корней, узлов кричащего красного леса.

А то, что с теплохода, с «Метели», старуха сойдет и пуговичку будет сжимать в кулаке — ну то нюх просто, нюх, глаз змеи, слышащей ход подземных вод. Элементарно, Ватсон.

В землянке — ягодный скит под высокой горушкой с маяком строился без размаха, экономя как будто лесные пяди, вписываясь в ландшафт — двоим было не повернуться, и духов быт валился на Тату прямо с черных стен, обступал плотно. В нем не было ничего для жизни, как будто дух и впрямь не питался, не наливал кипятка в миску, не вытирал тряпьем рук, не спал на твердом, обняв себя руками и убаюкивая, не хранил грибных запасов на зиму — все это, видимо, делал, но оно, земное, зряшное, было неважно и утоплено в глубь земляного наката, а из стен выступало другое: акварельки на шматах обоев (обои были у поселковых, они их даже иногда меняли, выбрасывая обрезки), из которых шагал своими каменными коленями монастырь, красным, то ягодным, то маковым, заливало по весне и лету дальние острова, бесчисленное море все ждало кого-то из тумана. Свой, от руки нарисованный образ, Бо-го-ма-терь-за-печ-на-я (Тата сняла губами буквы, решила, что запечная, как сверчок, это почти что земляночная, как будто местнотимая, на одном пятачке земли, святая, ангел этой дыры). Черно-белые карточки, свернувшиеся по углам, ставшие почти свитками, папирусом, берестой, вот-вот дадут семя в землю, прорастут именами: лица были повторены дважды, профиль, анфас, белым процарапана фамилия, инициалы в нижнем правом углу, и только редкие плотные снимки с длинными бородами, в монашеских рясах, в труде — мастерские, рыбные сети, грибные корзины — были похожи на привычные человеческие фотографии, всего карточек было много. Чьи-то старые письма выцветшим карандашом на мягких картонках, по тону похожие на прибрежный песок, — где сколотые сосновой иглой, где прижатые в уступе земли камнем. А еще просвирница, старой меди монастырская дорогая вещьца, выступающая из верхнего угла, с местным рисунком печати: тонко прочерченный контур двухъярусного высокого храма с тяжелой головой, широким глазастым куполом, испускающим свет. Храм-маяк.

Нашла.

Вон он, маячит своей голгофной золотой головой над горушкой, трудится, стоит на месте, бдит, соединяет.

Зазубринка с пуговички у Таты в кулаке чиркнула по коже, ткнулась, царапнула — Тата сжала ее посильней и увидела, как идеальный круг безликого пока и безымянного металла, срезанный с отцовского ватника плоскостью чужого ножа, опускается в огонь, оплавляется, подставляя свое размякшее ложе под резец творца, и обретает лик: храм-маяк с печати для просфор переходит на широкую пуговицу, все же недостаточную по размеру, чтобы уместить весь рисунок, и тонкая завивь по кайме повисает в воздухе. Тата видит виньетку впервые — а вот маяк на двух ладонях, на пуговичке и на просвирнице, совсем один. Образ и слепок. Контур и оттиск. Кто-то оплавил казенную пуговицу, оставил на ней след... Кто-то, кто дал ей, Тате Тугиной, имя-свое-я-украля, жизнь. Дух ссыпает Тате в подставленные лодочкой ладони четыре одинаковые пуговицы, и остается еще что-то, имена, подробности, но он молчит — и Тата сомневается: и впрямь ли слышала на причале его голос, продутый ветром. Он молчит, но картонку, многожды сложенную за жизнь, гнутую по ребрам, расправленную чужой ладонью, как знал, зачем приплывет старуха с этого рейса, достает не глядя, выбирая из нескольких других.

Однажды они приходят. За именами. Однажды приходят.

Тата, выйдя — нагнулась под притолокой — на свет, сочащийся от высоты дерев, читает по складам письмо маячнику (заклученные сменили монахов на навигационном посту храма), переправленное своим человеком из женского барака и найденное духом лет тридцать спустя в схроне, в гнилом бревне, под горой, в йодного цвета грязной стеклянной пробирке с плотно притертой пробкой — так что влага листочки и не взяла.

Почерк узкий, надо все уместить.

«Серёжа!

Подумала сегодня, что преимущество твоего положения еще и в том, что письма твои приятны глазу, а мои выходят все криво и коротко (только не сегодня, сегодня

важное) из-за этого обмылка грифеля, который мы приспособились оформлять хлебным мякишем для удобства (хотя удобство по-прежнему сомнительное). Но я не с упреком! Пусть тебе будет хорошо в этой твоей высокой башне! Новостей нет. Разве новость, что Любу Мухортову Обглобя опять увела на ночь? Есть одна только радость и оказия: неожиданно совершенно берут у меня письмо, и я эту радость спешу скорее тебе передать. Не знаю, получится ли найти слова.

У меня так легко сегодня на сердце, Серёжа! Невероятно звучит это, понимаю, потому что страшно все, что вокруг, даже когда ты к этому, казалось, привык, и еще страшнее то, что впереди, но как же мне легко сегодня и радостно! Почти безмятежно. Как, знаешь, когда шуришь уже один глаз, но голова еще под одеялом, и по запаху понимаешь, что на кухне оладушки под полотенцем, жаркие, и все дома и ждут только тебя... Тебя, ты, твой... Как же забыто, размазано, изничтожено у нас тут: здесь говорить о чем-то своем только, собственном, необщем даже смешно, здесь даже смерть твоя не принадлежит тебе! Но нет, все-таки я твоя, ты меня себе присвоил и держишь. Перепад ото лба вниз, его так люблю у тебя, и запах, ты всего сильнее пахнешь у крыльев носа, от этого сложнее всего оторваться, от этого запаха, когда пора. Еще люблю как ты спишь, хотя всего один раз мы спали вместе — ты помнишь, как нам невиданно повезло, какой выпал случай! — и я проснулась раньше и видела, как ты свободен даже во сне, не то что я, сжимаюсь, как мышка, обнимаю сама себя, дрожу, и не от холода... А ты спокоен и волен, и я мыслью держусь за тебя, как за крепкий дуб, питаюсь твоими корнями, даже сейчас. Знаешь что, Серёжа, родной, знаешь, что я думаю? Я представляю, что мы станем делать, когда все закончится. Ведь закончится же, да? Ну, мы, предположим, убежим. В Англию, к примеру, ты остановишь проплывающий корабль, ну, просигналишь им как-нибудь сверху, и мы сбежим. Нас возьмет к себе порядочная семья, старик и старуха, и у них будет незамужняя дочь, больная и требующая призрения, они оставят нам все состояние и эту старую девушку, и мы подружиться, и будем ее опекать, я посажу в саду далии, какие росли у нас, а тебе буду печь оладушки по воскресеньям, когда у нас снова появятся воскресенья. Нет, почему же, каждый день буду печь, мы ничего не пропустим! Утром я впущу солнце в нашу спальню — обои в желтеньких розах — и буду смотреть, как ты спишь, и оладушки, конечно, сторят, а я буду тихонько дуть на твою челку, так, что она начнет тебя щекотать, ты проснешься, нахмуришься, опять забыв, как мы здесь оказались, потом вспомнишь, рассмеешься и сграбастаешь меня к себе. Серёжа, ну да же? Так же будет? А потом мы снова уснем, и нас разбудит плач, и я думаю, это будет девочка. А имя? Как мы ее назовем, как мы ее назовем, нашу дочь? Ты думай. Люблю тебя сегодня так, как не любила раньше, так, что сжимаю челюсти от неистового желания прижаться и целовать, когда о тебе думаю, а думаю я о тебе всегда, и то, что со мной происходит сейчас, мне видится так, будто Бог наконец нас углядел и простер к нам свой луч, ну прямо как ты пробиваешь тучи светом этих своих линз, сбегающим с горы. Блуждающий огонь... Серёженька, мне кажется, мне сегодня кажется, что мы заблудились, но сейчас наконец пришли туда, куда должны были, или зачем вообще все это было иначе... Мне сегодня легко так на сердце! Во мне живет надежда. Давай ее так и назовем. Надя Торадинская. Красиво и со смыслом, правда ведь? Ну разве нарочно так придумашь? Нет.

Идет Обглобя, кончаю.

Л.»

Станным было то, что эшелонная записка, чужая перепись любви, присвоенная Татой, давшая ей имя в самом начале, сейчас, в самом конце, как будто обретала себе сестру: только теперь в руки шло, возвращалось по-настоящему свое, на этом картонном обрезе выплывало из толщи — и снова именовало... Подпись, Л., — это Лиза. Дух многое знал и, оказывается, умел говорить, а где-то и Тата сама сопоставляла, вставляла в прорези его рассказа какие-то недостающие куски из лагерного бытия, хранившиеся в памяти еще из писем невесты Петра Фёдорыча. От Лизы осталось

только это письмо — ни возраста, ни происхождения, ни внешности дух не мог описать, но Тата и сама видела: и как мать, спеша, засовывала в чей-то склад ладоней (кто была их посыльной? вот эта же Оглобля, подрабатывающая связной? или другой корыстный человек? или, наоборот, добрый?) домашние еще шелковые чулки, чудом сохранившиеся на пересылке, а в чужой карман — так же спеша — пихала картонку, и как другие сообщения передавала на лоскутах, оторванных от подола, на каждой драгоценной тряпочке, химическим карандашом. Как крашены были барачные доски голубой краской, выедаемой соленым ветром сразу после свежего подновления, и те стояли седыми, с вечно разлитой широкой лужей посередине плаца, и выкрикиваемые имена бились о его края, а штабной дом двоился в глазах смотрящего, глядя в грязную воду. Где они встретились? На пересылке, густо замешенные в трюм? Здесь, на ягодном скиту, когда женщин пригнали обсиживать брусничные кочки? Или он зацепил началом своего бессрочного срока несколько времени там, в бараках, до перевода на маяк, и они выглядели друг друга поверх переключек и разводок на лесоповал? Лица темные-темные, сушеная корка, потому что не отмыться, потому что летом на плацу солнце лепит на тебе свою маску, пока ты стоишь смиренно и всеми лопатками чувствуешь, как глубока та обступающая тебя вода, от которой воздух приносит соль, и как верна лежащая перед тобой смерть. Или, скорее всего, они могли встретиться в клубе, все красное-прекрасное, и вся лежащая за морем страна, проворачиваясь с глобусом, стремится вперед, а ты, самый недостойный ее сын или дочь, должен трудом искупить и прослушать политинформацию, — а сам глазом следишь, как луч света от экранчика, на котором бегут кадры ударных строек первых пятилеток, падает, прорезая насквозь, на ее ухо под неровно обрезанным краем темных волос, подсвечивая мочку и пустую дырочку в ней, хотя нет, дырочку ты, пожалуй, сейчас додумываешь, это потом ты ее наизусть, на вкус запомнишь и отдашь все, что у тебя есть, и останется только вынуть из живота потроха, чтобы редко-редко взяли у тебя сложенную вдесятеро бумагу, прикрыли твое отсутствие, — минуты, с гермесовой скоростью пролетевшие — спиной заслонили, пока ты берешь ее лицо в свои ладони — вот так, едва ли не на марше, в пересменке, под соснами, которые не держат небосвод, но могут убить, и совсем один только раз было, что возлегли вместе и успели все узнать, впитать и запомнить, и не было в этом — литургия оглашенных — ничего животного и горячего, да на это не было и сил, но было это сразу узнаванием и нежностью, как младенца суточного распеленываешь в первый раз, возвращением на мгновение к себе и отрешением от мира, и даже поверх суеты и тревоги этой, что застанут, накажут, сдадут, поверх тяжело гудящего голгофного рельса, отмечающего очередной дневной срок, поверх тьмы — было это все встречей, прощаньем, предтечей.

Родов на Острове было мало — от худосочности немногие вынашивали. Служанки, рабыни... Кто зачинал от любви? А выносившие — не все выживали. А рожденные — не все выхаживались. Вычет за вычетом, убыль и простор. Глаза тоже сдавали последние годы, и Тате казалось, что это миопийный мираж: искривленный, выгнутый дугой горизонт, согласно и географии места — почти что и полюс, схождение меридианов. Не нужно и подниматься к чешуйчатой шишковине на храме, чтобы оттуда, с галереи, опоясывающей глаз маяка, разглядеть простор, разлеглийся во все стороны — море сосен, перетекающее в море соли. Тата и так видела. Преломляла все услышанное — как пояснение к тексту, примечания в конце книги — от духа, от которого не ждала доказательств, но вбирала архивные сводки, чуть-чуть рихтовала карту, хотя родство свое с ними ощущала не документальным открытием, а связью пуповин и предназначений — Тата преломляла все услышанное, как ломала и увеличивала, несла дальше свет линза Френнеля в глазу маяка, толстый, ступенчато устроенный, цельный кус горного хрусталя, лестница в небо, в котором всегда было — зеленое и всегда — синее, если смотреть на просвет, и только иногда — золотое и белое, и было совершенно ясно, что случилось с нарушителями режима: бесфамильная Лиза умерла родами — допенициллиновая барачная инфекция ее освободила, а Сергей

Торадинский, смотритель маяка, за запрещенную связь был низведен, определен в неотопливаемую банку карцера на нижнем ярусе храма-маяка (грелись телами, тел было больше в десяток, чем в воскресный день, на Пасху, и стояли свою литургию — лежа), бежал морем — и вознесся с рыбацкого карбаса, крашенного имперским серым и мастью личащего сизой волне. Вознесся выше галереи, выше гнутых журавцов, двенадцатью реберными дугами изнутри распирающими купол, выше всего зеленого и всего золотого, и выше Лизы, проросшей корабельной сосной, и выше девочки, по воде отправленной на материк, в детприемник.

Бестелесность их, непринадлежность родительских тел самим себе давала им и бесстрастность — и Тата догадалась, что мать не успела в своей горячке (бредила, губы запеклись, богоматерь Запечная приняла) напутствовать новорожденную — в изоляторе для живородящих. Успела лишь примотать к ее запястью пуговицу с ватника отца (уже ближе к концу всего этого Лиза зацепилась прядью за ножку пуговицы в их тесном объятии, рванула, когда отрывалась, когда пора было от Серёжи отрываться, пуговица отскочила от его груди, и она умыкнула ее с собой, даром и оберегом). В ушко пуговицы продет шнурок, плетенный из Лизиных волос; на материке же кто-то внимательный удивленно снимет с Татиной ручки шнурок, спорет с него оплавленную пуговицу, опустит ее в бумажный конверт, подклеит в конце тоненького личного дела (имя — Надежда, фамилия — Торадинская), уляпанного синими штампами, и потом кто-то еще безразличный, но не злой отдаст однажды подростшему младенцу его единственное наследство.

А отец, принимая в горло волну, не жизни желал никогда не виденному своему ребенку, ибо нельзя было такого ни своему, ни чужому здесь желать, а желал — отрешенности. Неуязвимости для страстей. Для боли. И для любви. Чтобы руки не мерзли, не пришлось глотать камни, чтобы сердце не лопалось на колках струной, чтобы не оплакивать никого и никого не ждать. Боже упаси ее выжить, Боже упаси мою дочь, говорили, Лиза родила девочку.

Богоматерь Запечная, слышишь?

— Что вело меня все мое время, оселок, по которому шла заточка, стало мне ясно только сейчас. Здесь, на Острове, ноги по шиколотки тонут в сыром береговом песке. Сцилла и Харибда мои, рождение и умирание, долевая и уток, между которыми я всю дорогу шла челноком. Каждая воспринятая уходящая жизнь возрождала во мне мою собственную, а мое рождение — я теперь это понимаю — случившееся дважды, в лазарете на Острове и в поле у разметанного эшелона, все время толкало меня к смерти: боже ее упаси выжить, Господи, если ты слышишь, и я ее везде находила, она тянулась ко мне сама. И это желание обезболить, обесчувствовать, ввести в анабиоз, залить лабораторным спиртом, чтобы однажды, когда станет можно, когда наконец не страшно, эту колбу с законсервированной жизнью разбить, — оно тоже врожденное... Обыкновенная магия, родительский заговор, оберег от беды. Замри, умри, воскресни. Многожды делала все из этого списка — кроме, толком, последнего. И кажется, что и времени лучше не будет, да и вообще никакого больше уже не будет. Есть только сейчас. Чайки эти, режущие голос, холодный чистый песок, увядшее мелкоцветье, прорастающее в воде, меж камней, и сходящее на пустой берег, вперед все далеко-далеко и серо-голубое, и маяк затеплят нескоро, и в царство другое, где не мерзнут руки, не лопается тетива в сердце, не ешь камни и не рожаясь в муках, не оплакиваешь, ибо не теряешь, и не ждешь, ибо не расстаешься, войдут те, кто найдены будут записанными в книгу. И все те, к кому я приходила, — приходили на самом деле ко мне. Пётр Фёдорович, и архитекторы Дудины, и Костик с Ясной, и Анна Арсеньевна, и Толик с виолончелью, и Лета, моя Лета. Которую я сама — вот сейчас явно вижу — заговорила от жизни, уберегла, как хотели уберечь и меня... Боже упаси ее выжить, если ты есть.

Мне осталось сейчас одно. Решить, что делать с именами, записанными в книгу — потому что в книге истерлась обложка, но важен же — текст. Передать. Продолжить цепочку. Вот что.

Осталось только решить.

И — воскреснуть.

Высокая, прямая на фоне сторбленных, придавленных годами блеклых березок, сходящих к воде, фигура — мазок облачно-серого над горизонтом, шея, ниже темное платье — точно вписывается в раскрытую на гигантских коленях палитру: шматы текучего серебра по верху, над горизонтом, опрокинутое в небо ледяное море, замкнутый контур бурых лесов, северная ягода, желто-иссушенная точка с самого края... Бесконечность, вечность, простор. Подходящий пейзаж для конца. И начала.

Когда настанет час, за Татой придут.

День будет, может быть, зимний, может, такой, как сейчас. Деревья облиты водой, вода застыла, и под наплывом ветра звенит стеклярус.

Их будет длинная цепь. Они идут за руку, чтобы не шагнуть в тьму по обочинам, краям, как шагают ангелы на новогодних гирляндах, мешая друг другу золочеными нимбами и звеня... Как идут дети в колпачках гномов, возвращаясь неделимой цепочкой на Детскую Гору. Или как идут конвойники по этапу, руки их за спиной, их строй тесен. Как сходят в воду по сигналу, и не умеющий плавать Соловов ломает ряд и падает в реку первый, щенячьей грудью, ошпаривая Тату, кожу с нее снимая холодными брызгами... Так ходят болящие, меряют коридоры оставшимся временем, так ходят ночные думы в тяжелых свинцовых ботинках, так протекают через город тучи, чтобы разрыдаться на окраине, в конце строки, и больше уже не грозить.

За Татой придут, когда настанет час.

Она почти никого не узнает. Ни кричащих архитекторов, ни мальчика с виолончелью, ни старуху, которая делала так много заходов к смерти, что, когда наконец ушла, никто этого не заметил, и многая, многая... Не узнает почти никого, хотя на земле оставалась единственной, кто еще их любил. Узнает лишь младенца женского рода, двух месяцев отроду нет, но сморщенное личико успело раскрыться, как распускается тугой бутон. Дочь. В корзинке, плывущей по водам. И не будет в водах никакого цинкового нутра, но будет только прощение и ожидание встречи.

И Тата пойдет с теми.

А пока отяжелевший подол полощется по волне, ногам холодно, желудок хочет горячего, веки — спать, жив каждый сосуд, каждая венка. Кто-то из-за спины, от земли, с глубины, трогает Тату за плечо и, не дожидаясь поворота ее головы, все вслух решает:

«Рассказывай».

И она начинает — с себя.

«Имя свое я украла».